
Б. Н. Алмазов

Сон по случаю одной комедии.

*Драматическая фантазия, с отвлеченными
рассуждениями, патетическими местами,
хорами, танцами, торжеством добродетели,
наказанием порока, бенгальским огнем
и великолепным спектаклем*

Я видел сон, но не все в том сне было сном.
Байрон

И бысть ему сон в ночи.
Москвитянин № 6, 1850

Он заснул...
Эпиграф одной современной повести

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Считаю за нужное предупредить читателей, что я очень странный человек. Это знает всякий, кто меня знает. К счастью, меня почти никто не знает. К числу людей, наслаждающихся счастьем не знать меня, принадлежите, без сомнения, и вы, любезный мой читатель, вследствие чего я осмеливаюсь предложить вам некоторые сведения по части этого предмета. Без них вам покажутся странными, и даже дикими, и заглавие, и слог, и даже самый предмет моего сочинения.

Итак, я, как уже сказано выше, очень странный человек. Странность моя главнейшим образом состоит в том, что я отстал от века и современных интересов, короче, что я не современен. Наш XIX век некоторые современные русские ученые и литераторы весьма справедливо и остроумно называют веком новейшим, а иностранные писатели — веком разумно-деятельным, веком практическим, дельным, деловым. В веке, снабженном такими эпитетами, живет человек (и надо сознаться, что этот человек я), человек, который подвержен разным несовременным добродетелям. Я очень склонен, например, к чувствительности и мечтательности; а чувствительность и мечтательность в настоящее время больше не употребляются в нашем обществе: чувствительность и мечтательность в нем выведены из употребления старьями новейшей журнальной литературы.

Человечество очень многим обязано этой литературе: оно ей обязано, между прочим, своим спасением; она исправила и отучила его от многого. До нее человек ничего не делал, специально занимался любовью, предавался мечтательности, писал стихи, чуждался общества и глубоко страдал. Новая журнальная литература сказала ему, что это не хорошо, и наказала его посредством Нового Поэта. Она отсоветовала ему писать стихи, запретила слишком сильно любить

и строжайше предписала не страдать, убедив его, что этого отнюдь не должен себе позволять человек хорошего тона. Взамен всего этого, она ему рекомендовала практическую жизнь, танцы, карты и в особенности шахматы. Она присадила его за дело, выучила «великой тайне одеваться к лицу»¹ и сделала человека — порядочным человеком.

Новейшая литература имела и на меня сильное влияние. Вняв ее увещаниям и угрозам, я перестал писать стихи, сшил себе рекомендованный ею в стихах бархатный коричневый жилет², нашил великолепного голландского белья, накупил французских перчаток и сшил исподнее платье с лампасами, которые тогда были в моде. Таким образом новейшая журнальная литература принудила меня экипироваться. Это мне стоило довольно дорого³, но я бы не пожалел денег, если б только эта экипировка послужила мне к достижению моей высокой цели. Но эта экипировка оказалась тщетною: прежде, нежели приступить к ней, то есть прежде, нежели начать одеваться к лицу, мне бы следовало приступить к выполнению других, более трудных для выполнения, предписаний новейшей журнальной литературы. Мне следовало бы отучиться слишком сильно чувствовать вообще, и слишком сильно любить, и очень свободно страдать в особенности. Но как я усердно ни старался, отстать от этой дурной привычки и хорошенько заняться «практической жизнью», я все-таки не отстал от нее, и все-таки «практическая жизнь» мне не далась. И как могла она мне даваться?! Разве человеку, одержимому сильною чувствительностью, можно хорошо вести себя в практической жизни? Нельзя. Чувство — вещь очень неудобная, человеку, снабженному чувством, бывает с ним очень неудобно и неловко в обществе.

Вследствие такого неудобства чувства человеческого, я не мог исполнить предписания новейшей журнальной литературы. Но я старался исполнить их, и старания эти очень дорого мне стоили; они мне стоили 1000 руб. сереб., не говоря уже о внутренних страданиях, о внутренней борьбе и разных нравственных лишениях, которые я испытал в большом количестве, стараясь сделаться практическим, порядочным человеком и тем удовлетворить требованиям века, прекрасно выраженным новейшей журнальной литературой. Для ясности расскажу вам здесь в кратких, но точных словах историю моего волокитства за практической жизнью.

Нас было трое — я да еще двое других, из которых одного мы назовем *x*, а другого — *y*. Мы были знакомы с детства, учились в одном пансионе, спали в одном дортуаре, сидели в классе на одной лавке и были до невероятности дружны между собою. Но несмотря на то, что мы были самыми отчаянными друзьями, в характерах наших было очень мало общего. Я был очень чувствителен, очень мечтателен и очень впечатлителен и часто и быстро переходил от одного расположения духа к другому, совершенно противоположному; *x* был постоянно весел и беззаботен, *y* — всегда важен и серьезен. Я любил читать Шиллера, *x* — романы Дюма и французские водевили, *y* — древних классиков. Я любил тихую семейную жизнь, *x* — светское общество и комфорт, *y* — древних классиков. Я любил прогулки при свете луны, любил прокатиться в санях по скрипучему снегу при звездном небе, послушать пение соловья; *x* любил танцы и верховую езду у Фрейтага в манеже при многочисленной публике; *y* любил древних классиков. Я любил блондинок, *x* — брюнеток, *y* — древних классиков. Я любил деревню, *x* — столицу; для *y* было все равно, где бы ни жить; ему везде было хорошо, где только были древние классики и лексикон Кронеберга. Я любил пищу простую, солидную и питательную; *x* — утонченную

¹ См. в «Современнике» великосветский роман «Великая тайна одеваться к лицу» (примеч. Алмазова).

² Ibidem <Там же (лат.)> (примеч. Алмазова).

³ Если новейшей журнальной литературе угодно, я ей подам счетец (примеч. Алмазова).

и изысканную; для *у* было все равно, что бы ни есть, только бы наесться. Я любил говорить по-русски, *х* — по-французски, *у* — по-латыни. Я был очень влюбчив. Влюбившись, я всей душой предавался любимой женщине и из всех женщин думал только о ней одной; *х* никогда не влюблялся, зато любил любезничать, волочиться и говорить с дамами о милом вздоре; во всем этом он был очень искусен. Он особенно не любил ни одной женщины, но у него была страсть до всех женщин. *У* и не влюблялся в женщин, и не волочился за ними: он занимался древними классиками. Между *х* и *у* было одно общее: оба они были крайне невпечатлительны и отличались ровностью в характере. Я им в этом всегда завидовал. Их могли развеселить или расстроить только такие обстоятельства, которые до них лично касались. На расположение их духа не действовали непосредственно ни печальные зрелища, ни дурная погода, ни человеческие пороки. Бывало, мне стоило только увидеть ночью какой-нибудь замечательный сон, и я уж весь день находился под влиянием грез: не мог готовить урока и не слушал учителя; *х* и *у* даже никогда не видали снов, никогда не жила во сне; *х* постоянно жил в действительной жизни, а *у* — в древнем Риме и древней Греции. На меня производило необыкновенно сильное впечатление приближение и появление весны. Пахнёт, бывало, на меня первым весенним ветром, услышу голоса весенних птичек, увижу на Москве-реке первое движение льда — и я сам не свой. На душе делается так неизъяснимо сладко и в то же время так неизъяснимо грустно; и хочется любить, и хочется бежать в лес, и жаждешь деятельности, и чувствуешь лень, словом, совершенно теряешься от полноты, силы и разнообразия ощущений. В то же время я становился еще беспечнее и рассеянее обыкновенного; сны мне снились чаще и живее, чем в прочие времена года. Потому по утрам я бывал под влиянием недавних грез, думал о том, что мне снилось, и чувствовал необыкновенную лень и распущенность. Тогда мне бывало как-то противно заняться своим туалетом. Я кое-как причесывался, кое-как завязывал на шее платок и весь день ходил растрепанный и раздерганный. В классе я присутствовал только телом, но не душой. Я уносился воображением в деревню: передо мною расстилались веселые поля с зеленеющей озимью, шумел густой сосновый бор, сверкал прозрачный ручей, катя свои струи по желтому песку, усеянному блестящими раковинами; на душе у меня было так торжественно и так тоскливо! Мне виделась подруга детства; мне казалось, что я сижу с ней на берегу того ручья, под столетним дубом, что мы с какой-то тяжелой грустью любимся темным лесом, грозным напевом ветра, весенним небом и слушаем жаворонков, что я с каким-то болезненно сильным чувством и тоскою прижимаюсь к ее груди, что мне грустно, что я плачу — и я плачу в самом деле, и учитель ставит меня на колена за сделанный в классе беспорядок. Ибо смех, слезы и вообще обнаружение всякого душевного движения во время класса у нас строго воспрещалось: для этого была рекреация. Но на *х* и *у* приближение весны не производило никакого особенного впечатления. *Х*, как и всегда, необыкновенно тщательно, обдуманно и изысканно изящно одевался, старательно причесывался и даже завивался; *у* по-прежнему прилежно изучал древних классиков и тем справедливо заслуживал благосклонное внимание старших. Красы природы на них тоже не сильно действовали. Когда случалось нам в воскресные дни гулять за городом и меня поражал какой-нибудь красивый вид, я с удивлением замечал, что *х* и *у* смотрели на него совершенно равнодушно. Как теперь помню — мы раз гуляли пешком за городом. *У* в продолжение всей дороги рассказывал нам о домашнем быте древнего Рима. Вдруг перед нами открылся такой великолепный пейзаж, какого нельзя ни вообразить, ни описать. При виде его я вскрикнул от восторга и предложил моим спутникам остановиться и полюбоваться им. Они остановились. Около пяти минут мы стояли на одном месте; я любовался видом, *х* бессмысленно смотрел на него, а *у* продолжал рассказывать нам

о домашнем быте древнего Рима. Вдруг стал накрапывать дождик. *Х* испугался и отчаянным голосом закричал, что нам надо спешить куда-нибудь под навес, если мы не хотим своих костюмов предать на жертву дождю. Сказавши это, он пустился почти бегом по направлению к видневшейся вдали деревне. *Я* и *у* пошли вслед за ним. *Я* шел неохотно и поминутно оглядывался на вид, произведший на меня такое сильное впечатление, *х* всю дорогу сердился и ворчал, что ничего не может быть глупее, как ходить так далеко пешком за город затем только, чтоб любоваться природой; что в этих прогулках ужасно пылится платье; что эти прогулки может делать только человек дурного тона, который не имеет обыкновения хорошо одеваться; что в настоящую минуту он, то есть *х*, рискует испортить на дожде свою новую парижскую шляпу, свои легкие, модные сапоги. Но на *у* ни пейзаж, ни дождь не произвели никакого действия: он все время продолжал очень спокойно, подробно и обстоятельно описывать домашний быт древнего Рима.

Итак, вы видите, что мы были очень непохожи друг на друга. Была между нами одна общая черта: все мы любили правду, ненавидели подлость и криводушие и сами не были способны ни к подлости, ни к криводушию.

Окончивши курс учения, мы расстались. *Я* остался в Москве, *х* поехал в Петербург, *у* ушел пешком в Германию.

Долго я не имел известия ни об *х*, ни об *у*. Наконец узнал я от моих людей, что *х* пишет натуральные повести и приобрел громкую известность. Повести его отличались легкостью слога и легкостью содержания. В них не было ни идеи, ни глубоко задуманных характеров, ни драматического движения; не было ничего целого и законченного. В них описывались самые известные и обыкновенные происшествия, приводились самые будничные, не характеристические разговоры, выводились давно всем известные и истертые во всех романах лица. И потому петербургская публика находила, что повести *х* чрезвычайно натуральны, потому что в них нет ничего необыкновенного и резкого. Особенно читателям нравились в его повестях разговоры вроде следующего:

- Bonjour, madame.
- Bonjour, monsieur.
- Comment va votre santé?
- Très bien. Et la votre?
- Très bien.
- Dieu merci!.. Je vous prie de vous asseoir.
- Je trouve, madame, qu'il fait mauvais temps aujourd'hui.
- Vous avez raison, monsieur.
- Et il pleut.
- C'est bien vrai.
- J'aime beaucoup quand il fait beau.
- Et moi de même⁴.

«Как это натурально, как это верно, — восклицали читатели, прочитавши такой разговор. — Вот если б нам всегда так описывали высшее общество! Во-первых, здесь разговор идет на французском языке и действующие лица говорят так натурально, что подумаешь, что автор подслушал где-нибудь этот разговор и записал».

Направление повестей *х* было сатирическое. Он в них беспощадно казнил людские пороки, воздвигал гонение на чувствительность и мечтательность, на дурную кухню, Москву, провинцию, неумение одеваться к лицу и т. д. Сюжеты всех его

⁴ — Здравствуйте, мадам. — Здравствуйте, месье. — Как ваше здоровье? — Очень хорошо. А ваше? — Очень хорошо. — Слава богу!.. Пожалуйста, садитесь. — Я думаю, мадам, что погода сегодня плохая. — Вы правы, месье. — И идет дождь. — Это правда. — Я люблю, когда погода хорошая. — И я тоже (франц.).

повестей были одинаковы; они были ни что иное, как вариации на две темы. Первая тема. Выводится молодой человек. Он изображается таким идеалистом, романтиком и мечтателем, каких никогда не бывало и быть не может. Он влюбляется самым неестественным образом, мечтает так сильно, что по целым месяцам ничего не ест, а когда принимается есть, то, вследствие своей склонности к романтизму, он ест булжик и запивает чернилами. Он большею частию ходит без шапки по улице, дерется с ветряными мельницами и при всяком удобном случае обнаруживает такой романтический и рыцарский образ мыслей, какого, верно, не могли иметь и современники первого крестового похода. В продолжение всей повести он делает выходы одну глупее другой. Его хотят поставить на путь истины посредством мудрых советов, но ничего не помогает. Оканчивается такая повесть обыкновенно тем, что молодой человек вдруг, ни с того, ни с сего, по щучью веленью, делается практически порядочным человеком или спивается с кругу и начинает красть. Разумеется, автор утрирует своего героя не от неумения создать художественный характер, не от отсутствия в нем художественной способности, но от сильной ненависти к пороку. И потому он обыкновенно берет для повести эпиграфы такого рода:

Le cynisme des mœurs doit salir la parole
Et la haine du mal enfante l'hyperbole⁵,

или:

Si natura negat, facit indignatio versum⁶ и проч.

Да, автор сильно ненавидит пороки: у него такая же сильная ненависть к порокам и такая же сильная натура, как у Ювенала и Тацита! Вторая тема. Изображается молодая девушка, только что выпущенная из пансиона на свет божий. Она влюблена или в учителя русской словесности, или в учителя музыки. Предмет ее любви очень мечтателен, очень худ и бледен и очень пишет стихи или сочиняет ноктюрны. Он беден. Родители молодой девушки не соглашаются на ее брак с бедным человеком, а предлагают ей в женихи богатого помещика, вдовца, который ей противен. Она непременно хочет выйти замуж за того, кого любит; ей не позволяют. Она лезет на стену, хочет с отчаяния утопиться, сохнет и страдает, и наконец вдруг, ни с того, ни с сего, по щучью веленью и по собственному желанию, с большим удовольствием выходит замуж за того жениха, которого предлагали ей родители, делается провинциальной барыней, солит грибы, варит варенье, спит по 20 часов, ест по 15 раз в сутки и толстеет самым безобразным манером. В заключение своей повести автор восклицает: «И мог до этого унизиться человек!» Автор удивляется превращению своей героини, между тем как он сам его нарочно сделал.

Х составлял тоже и критические статьи, которые были так же прекрасны, как и его повести. В них он делал иногда маленькие промахи, обнаруживавшие в авторе плохого знатока истории, географии и вообще человека без солидного образования. Так он иногда в статьях своих смешивал Тибулла с Катюлом, аневризм с гекзаметром, говорил, что книга «*De viris illustribus*»⁷ написана Тацитом, не знал, что существовало два Плиния, и думал, что битва при Акциуме произошла 30 лет спустя после Рождества Христова. Такого рода ошибки с избытком выкупались

⁵ Язык житейских дразг его грязнил, бывало, / В нем ненависть ко лжи гиперболы ковала (франц., пер. П. Г. Антокольского).

⁶ Коль дарования нет, порождается стих возмущеньем (лат., пер. Д. С. Недовича и Ф. А. Петровского).

⁷ О знаменитых мужах (лат.).

направлением и богатством содержания статьи и новостью взгляда автора на вселенную.

Русская литература обязана ему многими, так сказать, реформами. Я упомяну только об одной. Библиографическую хронику своего журнала он разделил на три отдела — на литературу московскую, литературу петербургскую и литературу провинциальную. Московскую литературу он подразделяет на Мясницкую, Арбатскую и Пресненскую.

Между тем, как *x* со славой подвизался на поприще легкой литературы, еще с большим успехом и славой подвизался *y* на поприще историко-филологических исследований. Он уж был доктором. Две его диссертации — магистерская «О греческих монетах, существовавших до похода аргонавтов» и докторская «Взгляд на юридический быт итальянских народов до прибытия в Италию Энея» — прогремели по всей Европе и взволновали весь ученый мир. Самый большой успех эти диссертации имели в Германии: они произвели там такое сильное впечатление, что двое молодых людей от них застрелились.

Вот как отличались мои друзья!

Но что же случилось со мной? В то время как *x* и *y* старательно занимались прославлением своих имен, не знаемый молвою, не заклеименный славой, не украшенный ни прозвищем литератора, ни ученого, я в совершенной неизвестности, в чистой совести проводил дни свои. По большей части я жил в деревне, занимался там хозяйством и садоводством, читал, любил, ходил в посиделки, водил хороводы — и был счастлив. В такой жизни я находил много поэзии, много свежести; не было в ней ничего принужденного, ничего напущенного, ничего напряженного, ничего пряного. Когда я проводил день полно и благополучно, то есть если находил сельские работы в исправности, прочитывал с удовольствием несколько слов из Тацита или другого какого вечного писателя, испытывал какое-нибудь сильное лирическое ощущение, досыта наработывался в саду — то, ложась спать, восклицал, довольный собою:

Beatus ille, qui procul negotiis,
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura exercet bobus suis,
Solutus omni foenore;
Neque excitatur classico miles truci:
Neque horret iratum mare
Forumque vitat et superba civium
Potentiorum limina...⁸

Конечно, и такая идиллическая жизнь бывала подчас омрачаема кой-какими неприятными событиями и несчастьями. Так, например, случалось, что стогрит овин, прочтешь какую-нибудь статью в русском журнале, переломит кто-нибудь из моих домочадцев ногу и т. п. Конечно, такие события приключались, благодаря бога, очень редко, но все-таки приключались. Ведь человек не может быть постоянно счастлив!

Впрочем, я не безвыездно жил в деревне. Я почти всякую зиму, скопивши в деревне денег, уезжал в Москву. Там я ездил в театр, посещал ученые диспуты и лекции замечательных профессоров, но тщательно избегал балаганов, литературных и танцевальных вечеров и травли за Рогожской заставой. Я видался только с самыми

⁸ Блажен, кто вдалеке от всех житейских зол, / Как род людей первоначальный, / На собственных волах отцовский пашет дол, / Не зная алчности печальной. / Ни море злобное, ни труб воинских звон / Не возбуждают в нем тревоги; / Бежит он Форума, не обивает он / Граждан значительных пороги (лат., пер. А. А. Фета).

короткими знакомыми, с которыми мог без греха провести время. Читал я много, и чтение мое было разнообразно. Я занимался многими науками, занимался серьезно и основательно, но не мог ни одной заняться специально, то есть посвятить себя одному какому-нибудь предмету исключительно. Сперва я занимался филологией в обширном значении этого слова. Я было специально изучил историю английской литературы; но, посреди моих самых жарких занятий этим предметом, мне случилось как-то услышать лекцию о римском праве. Эта лекция была так блистательна и привела меня в такой восторг, что я бредил ею целую неделю и решил прослушать целый курс о римском праве. Прослушавши этот курс, я ударился изучать право вообще. Три года с лишком я занимался юриспруденцией, перечитал в это время все замечательные сочинения по части философии права, проследил его историю у древних и новых народов и уже принялся было за подробное изучение восточных законодательств, как приехала в Москву итальянская опера. Сходил я на первое ее представление, услышал «Лукрецию Борджиа» и погиб навсегда для юриспруденции. Я сделался отчаянным меломаном, не пропускал ни одного представления итальянской труппы, целый день пел или играл на фортепьянах лучшие места из итальянских опер. Когда первые порывы любви к опере прошли, страсть эта приняла более солидный характер, следствием чего было то, что я занялся изучением истории вокальной музыки. Но, разумеется, я и на этом не остановился. Из всех моих недостатков и дурных наклонностей, мешавших мне заняться чем-нибудь специально и приобрести литературную или ученую известность и чрез то выйти в люди, главными были привычка заниматься только тем, что приносит удовольствие, отсутствие желания прославиться и отсутствие ремесленного духа.

Вы видите, что я человек, рожденный для тихой жизни, для неизвестности, а не для литературной общественной деятельности или светской жизни. Я понимал свое назначение и продолжал жить, как жилось. Но вот что вдруг со мной случилось.

Сидел я раз в амфитеатре Малого театра; был антракт; я от нечего делать деятельно лорнировал вокруг себя. Вдруг вижу, что в шагах десяти от меня стоит человек с очень знакомой мне физиономией, — всматриваюсь и узнаю (кого бы вы думали?) моего приятеля х. Как бы вы ни были жестокосерды, мой любезный читатель, но вы, верно, можете себе представить, как сильно забилося мое сердце, когда я увидал так близко подле себя друга моего детства, друга детских невинных забав и чистых замыслений, друга, с которым я больше десяти лет не видался. В сладостном волнении я бросился к нему, хотел броситься ему на шею, но он чрезвычайно ловко высвободился из моих объятий, увернулся от поцелуя и чрезвычайно бонтонно и умеренно подал мне руку. Такой поступок меня до крайности удивил и оскорбил. Х заметил это и, отозвав меня в сторону, сказал: «Послушай, тебя, кажется, смутила моя наружная холодность. Будь уверен, что я тебя люблю по-прежнему и даже больше прежнего; но человек обязан скрывать свои чувства. Я в восторге, что тебя встретил, но обнять тебя, в особенности публично, не могу: это против моей системы, против моих убеждений, против моей совести. Порядочный человек должен скрывать свои чувства: высказывать их могут только люди дурного тона и люди отсталые от века. Что бы при тебе ни случилось, что бы ты ни чувствовал, что бы с тобой ни делалось, — ты всегда должен сохранять спокойный, холодный и благопристойный вид. Зарежут ли при тебе 1000 человек, умрут ли при тебе все твои родители, женят ли тебя, сделают ли в твоих глазах неслыханное благодеяние, родит ли твоя жена семь человек разом, провалится ли перед тобой колоколья, — не показывай ни радости, ни печали, ни ужаса, ни удивления. Будь всегда человеком; ибо истинным человеком может назваться только человек

цивилизованный; а цивилизованным человеком обыкновенно бывает только такой человек, который не высказывает своих чувств, не носит на себе никакой особенности, не имеет никакой личности: он гладок и бесцветен. Взгляни на американских дикарей и готтентотов: у них сильно развита личность, они не скрывают своих чувств, оттого они все такие *mauvais genre*⁹, и оттого их не принимают ни в один порядочный дом, ни в какое хорошее общество. В настоящее время в нашей литературе постоянно развивали мысли о том, что человек не должен заботиться только о своем внутреннем развитии, но должен непрестанно пещися о своей наружности, то есть скрывать свои чувства, одеваться по самой последней моде, и быть достойным своего великого назначения — быть царем всех животных. На эту тему в одном моем журнале было написано пять романов, 13 повестей, 140 критических статей на разные изящные произведения и 80000 писем из провинции. Не знаю, как до тебя до сих пор не дошли положения новейшей философии».

Я хотел кое-что возразить на монолог моего друга, хотел спросить его, за что он так беспощадно лжет на новейшую философию и что он вообще под философией понимает? Но в это самое время поднялась занавесь, и мы должны были расстаться. При выходе из театра х сообщил мне свой адрес и звал меня к себе. На другой день, в 9 часов, я к нему явился. Он еще спал. Лакей меня просил подождать, пока барин проснется. Я прождал его до двух часов. Наконец х проснулся и вышел из спальни в кабинет, где я его дожидался. Костюм его был поразителен. На нем был драгоценный халат, рубашка из самого дорогого батиста, с большими золотыми запонками, шаровары из алого атласа; на ногах его были туфли, нарочно им выписанные из Китая; пальцы его были унижены бесценными перстнями; на голове его был зеленый колпак.

— А, ты, говорят, — сказал он, — дожидаешься меня здесь с 9 часов!.. Да в котором же часу ты сам встаешь?

— Часов в 6, — отвечал я.

Х. (С удивлением). Как часов в 6! Да разве может образованный человек вставать так рано?! Скажи, неужели ты так рано встаешь?

Я. Когда раньше встанешь, как-то голова свежее... Я поутру занимаюсь, читаю что-нибудь.

Х. Боже мой, как ты отстал от века! Тебе, видно, совсем незнакома новейшая философия. Читал ли ты в «Современнике» письма из Парижа?

Я. Читал.

Х. Да ведь там прямо и ясно сказано, что нормальный человек встает не раньше 8 часов. А ты после этого встаешь в 6. Как тебе не совестно! (*Осматривает меня*). Боже мой, что это как ты скверно одеваешься! Какое толстое сукно на твоём фраке; оно не дороже 12 рублей: это, брат, ни на что не похоже! Как ты мало читаешь! По-займись ты, брат, своим образованием. (*Молчание*). Скажи мне, пожалуйста, какую ты жизнь ведешь, все ли ты такой идиот, как прежде. Стал ли ты наконец ездить на балы?

Я. Нет.

Х. Отчего?

Я. Оттого, что мне на них скучно. Мне кажется, что бал не в духе нашей нации.

Х. Эх, да ты все такой же романтик, как и прежде! Полно, перестань, ведь ты не маленький! Опомнись, оглядись! Ведь человек рожден для общества и потому не должен чуждаться балов. Только одни гении могут не ездить по балам, но ведь зато все гении *mauvais genre*. (*Молчание*). Вот тебе мой совет: займись своим образованием и для этого обратись к новейшей журнальной литературе: она тебя научит.

⁹ Дурного тона (*франц.*).

Разговор этот почему-то произвел на меня сильное впечатление. Мною овладело сомнение: я стал спрашивать, точно ли я живу, как жить следует, не откроет ли мне глаза новейшая журнальная литература. Я обратился к ней. Вследствие моего знакомства с ней я возымел твердое намерение сделаться практическим человеком и с этой целью заказал себе особый костюм.

Заказав себе модное платье, сообразное с требованиями нашего века, прекрасно выраженными новейшей журнальной литературой, я с нетерпением дожидался того дня, в который портной мне обещался его принести. Этот день имел для меня огромную важность: я дал себе слово, что именно с этого дня сделаюсь практическим и современным человеком. Этот день (я очень хорошо помню) был среда, 25 апреля; портной мне обещал принести платье в 10 часов утра. Сообразив все это и еще то, что я употреблю полчаса для надевания нового костюма, я записал у себя в памятной книжке, купленной мной по случаю намерения сделаться практическим человеком, следующее: «Сего 184... года в среду, 25-го апреля, я сделаюсь практическим человеком; начало в 10 часов с половиною». И действительно, в вышеозначенный день и час я стоял в костюме, удовлетворявшем современным потребностям новейшей журнальной литературы. Осмотрев все части своего туалета при безмолвно-красноречивом участии трюмо и таким образом удостоверившись, что догнал свой век, я надел шляпу, взял тросточку и пошел со двора. Для первого дебюта на поприще практической жизни я нарочно отправился в такой дом, который мне казался самым практическим и который действительно вмещал в себе одно прекрасное семейство с самым практическим образом жизни. Наружность этого дома была самая безукоризненная: от него веяло таким же холодом и в нем царствовал такой же порядок, как у нашего общего знакомого мистера Домби. Светскости и хорошего тону там было неисчислимо: говорили там только о погоде, читали только Александра Дюма да Фенелона, по-русски говорить совсем не умели, о людях судили только со стороны их практических проявлений и играли в карты с остервенением.

Дело было ранней весной. Хотя погода и была теплая, но улицы были испещрены лужами. Я бережно и довольно искусно перепрыгивал с камешка на камешек через эти лужи, дабы не замарать в грязи свои современные брюки с лампасами. Таким образом долго идя по улице, я довольно удачно подвигался на поприще практической жизни. Вдруг невдалеке от меня, на беду мою, заиграла шарманка: «Ah, per che, per che non posso odiar te»¹⁰ — арию, которую я не могу слышать без особенного восторга, без какого-то лихорадочного трепета и которой я при всяком удобном и неудобном случае подтягиваю моим недостойным голосом. Услыхав эту арию, я вдруг внутренне преобразился, почувствовал на душе какую-то свежесть, забыл свои практические намерения, забыл, что я стремлюсь за современными интересами, забыл, что на мне современные и очень маркие брюки, забыл весь мир и с сладостным и унылым трепетом сердца затянул: «Ah, per che, per che non posso odiar te» — и в то же самое время, вместо того чтоб перешагнуть через лужу с камня на тротуар, я погрузил в нее правую ногу по самое колено. Очнувшись от восторженного состояния и заметив несчастье, постигнувшее мой правый сапог и правую часть современных брюк, я пришел в отчаянное бешенство. Случись со мной подобное несчастье днем или часом прежде означенного времени, я бы принял его совершенно равнодушно, потому что я тогда был не тот. Я тогда был человеком свободно чувствующим, человеком беззаботным, непринужденным; но теперь я уж был человеком практическим, серьезным, осмотрительным. Прежде я нашивал простые, черные, триковые, почти всегда поношенные брюки, которыми я не

¹⁰ Ah, почему, почему я не могу ненавидеть тебя (итал.).

слишком дорожил, о которых не имел слишком высокого мнения; а теперь на мне были брюки из самого дорогого французского трико, брюки цветные, брюки в высшей степени маркие, брюки, на которые я смотрел с беспредельным уважением. Прежде я был знаком с людьми, которые мне были милы по сходству наших убеждений, с людьми самыми простыми, самыми не «практическими», людьми более способными к отвлеченной деятельности, чем к практической жизни. К этим людям я не побоялся бы явиться с загрязненными брюками, потому что эти люди судили обо мне не по брюкам, а по внутренним моим достоинствам. Они не отворотились бы от меня, несмотря на то что у меня брюки были замараны, тогда как их собственные находились в противоположном состоянии. Нет! Они не отворотились бы с презрением от меня, но, напротив, распростерли бы ко мне горячие объятия и приняли бы во мне живейшее участие. Но к людям, к которым теперь я шел, я шел не по сердечному влечению, а *ex officio*¹¹, по обязанностям, налагаемым на меня современными потребностями, прекрасно выраженными новейшей журнальной литературой. К этим людям нельзя было представиться в том плачевном положении, в которое повергла меня упоительная мелодия покойного Беллини, искусно переданная шарманкой. Я вынужден был воротиться домой. Весь остальной день провел я в самых ужасных мучениях.

Но этот несчастный дебют не поверг меня в отчаяние и не совратил с предпринятого мной пути; напротив, после этой катастрофы я еще с большей решимостью и энергией взялся за свое предприятие. Я начал учиться играть в преферанс, разговаривать о погоде, разъезжать с визитами, перестал рассуждать о высоких предметах, и т. д. Я стал чувствовать сильные головные боли, но все-таки был тверд в моих намерениях.

Но чем больше я старался сделаться практическим человеком, тем сильнее я убеждался, что это для меня невозможно. Я видел ясно, что мне никак не вылечиться от чувства, которое меня выдавало повсюду. Помня, что чувство есть способность души, обнаруживающая в человеке дурной тон и недостаток воспитания, подобно русским перчаткам, нечищеным зубам и неумению говорить по-французски, — помня это, я тщательно прятал его, но мне стоило только зазеваться, и оно, к крайнему стыду моему, выступало на позорище пред окружающим меня порядочным человечеством. В один прекрасный зимний вечер, например, я сидел за картами в одном порядочном доме; я был всею душою погружен в игру, — я, который так ненавижу карты. Прошел целый час благополучной игры; я был в восхищении от моего поведения... Но вдруг (о, коварная судьба!) я как-то совершенно нечаянно, безо всякого дурного, то есть не практического намерения, отвожу глаза от карт и вижу в соседней комнате молодую незнакомую мне девушку, вероятно, приехавшую в то время, когда мы сидели за картами. Наружность этой девушки произвела на меня очень сильное и приятное впечатление. Взглянул я на нее и засмотрелся, приковался к ней моим взором, моей душою; я смотрел на нее с каким-то сладким, успокоительным чувством; чем-то разнеживающим, убаюкивающим веяло от нее на меня. Взглянул я на нее, «вникнул в нее долгим взором», и во мне затихла боль от ран, нанесенных мне в борьбе с практической жизнью: я вдруг помолодел, забыл и свои «практические» намерения, и желания сделаться «порядочным» человеком, и требования XIX века, прекрасно выраженные современной журнальной литературой, и самую журнальную литературу, и преферанс, и весь мир. Достоверно не знаю, в чем именно заключалась причина такого сильного впечатления, в самом ли деле девушка была необыкновенно хороша, или это мне так только показалось вследствие того обстоятельства, что уж больше часа

¹¹ По обязанности (лат.).

внимание мое совершенно было поглощено картами и взор мой был устремлен исключительно на физиономии пиковых, бубновых и прочих дам, физиономии, как известно, не отличающиеся большой выразительностью и высоким изяществом; может быть, только сравнительно с ними молодая девушка показалась мне красавицей. Как бы то ни было, но наружность ее произвела на меня такое сильное впечатление, что я забыл, что сижу за преферансом, и играл совершенно машинально. От этого случилось очень плачевное событие. Я в рассеянности так дурно играл, что заставил обремениться хозяйку дома, с которой я вистовал. Хозяйка была глубоко оскорблена моим поведением и так на меня рассердилась, что назвала неучем и приказала людям меня вывести, воскликнув при этом: «Какие нынче стали молодые люди!» Вслед за этим отдан был приказ швейцару не впускать меня как дерзкого, неблаговоспитанного человека, готового всякого обременить.

Несмотря на это печальное происшествие, я все-таки не терял надежды отучиться от чувства и с этой целью решил принять над собою строжайшие меры. Я решил отдать себя в учение. Многие из моих знакомых брались за весьма умеренную плату отучить меня от чувства и выучить «практической» жизни. Один даже мне прямо сказал: «Положите мне в год 200 рублей серебром жалованья да пожалуйста что-нибудь, если милость ваша будет, из старого платья, — я вас отучу от чувства и от всех его последствий. Я вас берусь в самое короткое время выучить практической жизни и отучить от чувства: через три года с небольшим вы совершенно ничего не будете чувствовать». Но я не имел возможности принять предложение моего знакомого, потому что у меня тогда не случилось денег и потому что я имел привычку отдавать старое платье моему камердинеру. Сверх того, у меня представился случай совершенно иным образом отдать себя в учение. Мне было знакомо одно очень светское и «практическое» семейство. Это семейство собиралось на целые полгода в деревню. Я возымел твердое намерение ехать с ними, полагая, что, проживши целые полгода с практическими людьми, я совершенно выучусь практической жизни и что все мои природные недостатки пройдут. Я отправился...

В продолжение всей дороги со мной ничего не случилось, кроме самых благополучных происшествий, самых «практических» обстоятельств. В продолжение всей дороги я вел себя примерно: любезничал без остановки и говорил с увлечением, жаром и страстью о погоде и о других практических предметах, меня нисколько не интересовавших. Но лишь только мы приехали на место, как открылся ряд самых несчастных приключений. Всех их описывать не стану, расскажу только о последнем и главном.

Раз на именинах у моего хозяина был большой обед, обедала почти вся губерния. За столом вдруг завязался серьезный, ученый разговор. Говорили о новой истории. Один очень образованный помещик, сосед моего хозяина, стал утверждать, что Наполеон жив. Многие с ним согласились. Я закипел благородным негодованием, услышав такое искажение истории, и стал громогласно доказывать, что Наполеон умер. Я привел им такие сильные доказательства, что они принуждены были отказаться от своих положений; хозяин дома обиделся и сказал мне, что я отравил его праздник и наделал неприятностей его гостям. За этим он попросил меня оставить его деревню, предложил даже денег на прогоны, но я, как благородный человек, отказался от этого и уехал на свой счет.

Но этим все-таки не окончились мои приключения на поприще практической жизни. Я сделал еще несколько опытов по этой части и совершенно удостоверился, что неизлечим. За что бы я ни взялся, во всем мне мешало проклятое чувство и втягивало меня в беду. Два года я подвигался на поприще практической жизни, и все это время, как нарочно, со мной случались происшествия совершенно неудобные

для этого поприща: то я влюблялся, то окунал в грязь новое, чрезмерно дорогое исподнее платье с лампасами, то заговаривал о высоких предметах и т. п. Наконец я махнул рукой на практическую жизнь и решил остаться таким, каким был прежде. С души моей точно гора свалилась: я опять стал весел, помолодел, чувствовал себя здоровее и стал опять счастлив.

Только что я успел таким образом успокоиться и возвратиться к моему первобытному состоянию, как разнесся по Москве слух, что приехал из Харькова знаменитый ученый у.

Он уж был почтенный человек, был женат, имел хорошее место, издавал журнал, который ему стоил ежегодно 1500 рублей серебром, и таким образом очень приятно проводил время. Аккуратно два раза в месяц он делал новое открытие в области филологии, и слава его росла беспрерывно.

Я очень люблю у и до сих пор не могу вспомнить о нем равнодушно, так позвольте мне сказать еще несколько слов о его характере.

В жизни главное для него была наука; все остальное он почитал только вспомогательным средством для науки. История его жизни была не что иное, как история его занятий латинским языком. Почти каждый человек прошедшую жизнь свою делит на периоды и, смотря по своему характеру, берет ряд событий для эпох. Так, один делит свою прошедшую жизнь по своим отношениям к женщинам и говорит такого рода фразы: «Это случилось, когда я был влюблен в L., это — когда я еще ни разу не был влюблен, а это — во время размолвки с D.». Другой делит историю своей жизни по отношениям к крепким напиткам и говорит: «Это было, когда я еще ничего в рот не брал, а это было после того, как я уже начал испивать». Третий разделяет жизнь свою по месту своего жительства. «Я, — говорит он, — тогда еще жил у Сухаревой башни, в Третьей Мещанской, в доме Сухарева, занимал пять комнат с кухней, и платил 150 рублей серебром в год. Очень дешево!» Пятый усматривает в своей жизни три эпохи: когда он не держал своих лошадей, когда стал держать и когда перестал держать. Для шестого его биография есть история его убеждений и т. д. Так у каждого в этом деле свой метод деления. У историю своей жизни разделял на следующие периоды: «Первый период: когда я еще не начинал учиться латыни (время доисторическое). Второй период: когда начал учить сокращенную латинскую этимологию и читать латинскую хрестоматию. Третий период: чтение Корнелия Непота и краткий синтаксис. Четвертый период: чтение Саллюстия и перевод из тем Дронке. Пятый период: чтение Тита Ливия, *syntaxis ornata*¹² и упражнения на латинском языке. Шестой период: чтение Тацита и Ювенала». Я часто от него слышал такие фразы: «Я тогда еще был очень молод и неопытен, я еще не знал большой грамматики Цумпта, я знал только маленькую. О, я еще тогда глубоко и горько заблуждался: я думал, что от Jupiter родительный падеж Jupiteris! О, как я жестоко ошибался и за то как жестоко был наказан! Стыдно вспомнить время таких заблуждений. Как я тогда был чист и невинен, я не знал тем Дронке!»

Несмотря на то, что у был необыкновенно учен, он сочувствовал художественным произведениям. От природы в нем было мало эстетического чувства, но он дошел до понимания изящного посредством отчаянного чтения всех немецких эстетик. Художественными произведениями он наслаждался совсем не так, как мы, грешные. Когда, например, ему случалось видеть в театре очень смешную комедию или очень трогательную драму, он не смеялся, если комедия была смешна, и не плакал, если драма была трогательна. Но возвратившись после спектакля домой, справлялся во всевозможных эстетиках, была ли смешна комедия или была ли трогательна драма; также советовался на счет этого с своими учеными друзьями. Если

¹² Украшенный синтаксис (лат.).

по всем справкам оказывалось, что комедия была действительно смешна или что драма действительно трогательна, то вдруг начинал от полноты убеждения неистово хохотать или горько плакать и рыдать (смотря по тому, что требовалось эстетиками, шло ли дело о комедии или о драме); тогда в продолжение целого месяца нельзя было его унять. Такие высокие порывы унимала в нем жена нежными попечениями и гофманскими каплями.

Великое его уважение к науке выражалось и в обхождении его с людьми. Людям, не имеющим никакой ученой степени, он никогда не кланялся; он им никогда не подавал руки и не позволял при себе говорить. Кандидатам он давал руку, позволял при себе говорить (но стоя!) и не позволял произносить собственных суждений. Магистры имели право говорить перед ним сидя и произносить собственные суждения; он с ними обращался гуманно. Докторам же он позволял все: позволял даже себя бить и ругаться над собой, сколько их душе угодно. Так он уважал докторов! С человеком, не имеющим никакой ученой степени, он обращался гуманно только в таком случае, если тот был литератор, или художник, или что-нибудь в этом роде и заслужил одобрение ученой критики.

Узнав о приезде моего друга, я сейчас к нему отправился. Я взшел в его комнату и обмер: на стене у него висела следующая таблица:

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 184... ГОД		
Дни	Часы	ПРЕДМЕТЫ
Понедельн.	От 5 до 12	Чтение Ювенала и Горация.
	От 12 до 2	Гулять под руку с женой, несмотря ни на какую погоду.
	От 2 до 9	Чтение Дионисия Галикарнасского.
	От 9 до 10	Ссориться с женой.
Вторник	От 5 до 12	Заниматься мышлением.
	От 1 до 2	Для развлечения добродушно посмеяться с женой над кухаркой.
	От 2 до 9	Чтение Тацита.
	От 9 до 10	Тихая, светлая и умирительная беседа с женою как подругой жизни.
Среда	От 5 до 9	Приготовление к уроку.
	От 9 до 12	Урок.
	От 1 до 2	Попутить с женой.
	От 2 до 9	Перелистывать Тита Ливия и Плутарха.
	От 9 до 10	После неумеренного ужина (раз в неделю) сидеть, запрокинувшись, на креслах и глядеть в потолок.
Четверг	От 5 до 12	Создавать новый взгляд на древнюю историю.
	От 1 до 2	Для моциона дойти до такой веселости, чтоб можно было беззаботно и наивно бегать и скакать по зале и переронять все стулья.
	От 2 до 10	Учить наизусть Нибура и Гиббона.
Пятница	От 3 до 9	Приготовляться к уроку.
	От 9 до 12	Урок.
	От 1 до 2	Прогуливаться с женою по улице, несмотря на ненастную погоду.
	От 2 до 9	Читать журналы.
	От 9 до 10	Думать о житейских и домашних делах.
Суббота	От 5 до 2	Заниматься мышлением.
	От 1 до 2	Немножко попутить с женой.
	От 2 до 9	Писать ученые статьи.
	От 9 до 10	Принимать от жены счета и доклады по хозяйству.
Воскресен.	От 5 до 10	Читать Петрония.
	От 10 до 12	Быть у обедни и прислушиваться к формам языка славяно-церковного.
	От 2 до 10	Принимать гостей.
		Сверх всего этого 1 раз в месяц предаться меланхолии (для внутреннего очищения себя), и в 3 недели 1 раз сходить в баню.

Насмотревшись с пользой на эту таблицу, я взглянул на лицо моего друга, и мне открылось зрелище не менее поучительное. Лицо великого ученого выражало беспредельную важность и спокойствие. Глаза его были совершенно неподвижны: не только они никогда не переменили выражения, но они даже никогда не мигали. Голова его тоже никогда не поворачивалась, и держался он совершенно прямо, не подаваясь корпусом вперед и не закидываясь назад. Вследствие всего этого он был похож на человека, только что проглотившего аршин или что-нибудь подобное. У принял меня с восторгом. Только что он успел издать несколько звуков, обозначающих восторг, и только что мы уселись, как он обратился ко мне быстро с вопросом: «Скажи, пожалуйста, какой твой псевдоним? Я старался разузнать об этом и не мог. Я сперва думал, что ты пишешь под именем господ Сто сорок, Дважды два четыре, Чингис-хан и проч., но потом узнал, кто эти остроумные писатели... Скажи же, какой твой псевдоним?»

— Да ведь я ничего не печатаю, — отвечал я ему.

— Отчего ж ты ничего не печатаешь?!

— Да что же мне печатать, когда я ничего не пишу?!

— Отчего же ты ничего не пишешь? Ведь ты человек умный и образованный, так как же тебе не писать?!

— Да неужели каждый умный и образованный человек непременно обязан быть писателем?

— Каждый человек должен быть писателем: это его истинное назначение.

— Ты слишком много требуешь от человека. Пожалуй, я соглашусь с тобой, что обязанность каждого человека — стараться быть образованным; но быть или не быть писателем — в этом каждый волен.

— Нет! Каждый истинно благородный человек должен быть непременно писателем!.. Впрочем, нет: я не то хотел сказать... Я хочу сказать, что каждый благородный человек должен показать себя пред публикой со стороны какой-нибудь отвлеченной деятельности, то есть быть или поэтом, или ученым, или живописцем, или ваятелем, или чем-нибудь тому подобным, и обязан приобрести известность. Ведь Саллюстий прямо говорит, что мы всеми силами должны стараться о том, чтобы память по нас как можно дольше жила в потомстве. Ты не можешь представить, как мне противны люди ничем себя не прославившие!

— Но если человек не имеет счастья быть ни ученым, ни литератором и ничем тому подобным, то неужели ты не найдешь в нем ничего такого, за что бы мог его любить и уважать?!.. Я знаю людей, которые не только не литераторы, не ученые и ничего тому подобное, но даже необразованны, а я их уважаю и люблю.

— За что же ты их любишь?

— За их доброту, ум, душевность, любезность...

— И ты знаком с ними?

— Знаком.

— И ходишь к ним?

— Хожу.

— И говоришь с ними?

— Говорю.

— О чем вы говорите?!

— Обо всем, о чем можно говорить с простым человеком.

— Нет, я с простыми людьми говорить не могу!

.....

— Но мы отклонились от главного пункта разговора... Отчего ты не пишешь? Что ты делаешь в деревне?

— Занимаюсь хозяйством...

— А! хозяйством! Отчего же ты не пишешь статей о сельском хозяйстве?!..

Много еще мы говорили с у в этом роде, наконец, я ему сказал: «Нет, ты меня не уговоришь быть писателем; у нас и без меня их много. Мне кажется, что у нас происходит много вреда оттого, что всякий мало-мальски образованный и способный человек лезет непременно в литературную или ученую деятельность. Он этим отнимает у других сфер деятельности умных и способных людей. Так, например, я знаю много молодых “ученых” и “литераторов”, у которых есть поместья. Сами они присутствуют в столице в качестве посредственных литераторов и мнимых ученых, а поместья свои вверяют плохим, необразованным управляющим. Они гораздо бы больше принесли пользы и отечеству, и себе, и своим крестьянам, если б жили в деревне, а не занимались эфемерной деятельностью в столице. У нас каждый молодой человек (как бы он беден ни был) рвется на житье в столицу, как бы ни было мало его состояние. От этого тройкий вред: он лишает свои поместья образованного помещика; он проживается в столице, где житье дороже, чем в деревне; получает с имения меньше дохода, чем получал бы, если б сам жил в деревне и сам за всем смотрел. Нет! я думаю, что для человека гораздо полезнее, благороднее, возвышеннее жить в деревне и возиться с мужиками, чем, не имея больших литературных способностей, заниматься прославлением своего имени».

Но и этот монолог не убедил моего ученого друга. Он продолжал просить меня сделаться писателем или хотя написать что-нибудь для пробы и напечатать у него в журнале. Я не соглашался. Он наконец решился на последнее отчаянное средство: он мне показал отчет своего журнала о помещенных в нем статьях за истекший год. Я взглянул, и у меня разгорелись глаза. Статьи были самые великолепные, имена сотрудников самые знаменитые. Между прочим, я там прочел заглавие следующих статей: «Сравнение “Илиады” с посланием Даниила Заточника», сочинение молодого ученого Ф; его же «О славянском происхождении римлян»; «О том, как финикияне открыли стекло при помощи собаки», статья магистра V. Кроме статей господ Ф и V, здесь были помещены два капитальных сочинения самого издателя: первое — «О ложке Александра Македонского»; второе — «О вилке Дария Иста-спа». В смеси между прочим красовались следующие произведения по части изящной словесности: «Пир Валтасаров», водевиль, «Лже-Смердис», драма, «Нимфа Эгерия», роман.

Бывали также приложения к журналу, из которых мне больше всего понравились «Кимбры и тевтоны» (программа для балета) и переложение на музыку поэмы Клопштока.

Прочитав помянутый отчет, я стал тревожно ходить по комнате: мне вдруг захотелось что-нибудь написать. Меня начало разбирать честолюбие: мне хотелось видеть свою статью и свое имя в ряду знаменитых имен и статей. Но что мне написать? К ученым статьям я не способен, описывать свои чувства не умею и не считаю приличным публиковать о них... Я стал думать, что бы написать. Я долго думал и наконец придумал: я решился описать сон, который мне на днях привиделся. Я сейчас же побежал домой и принялся его описывать. С непривычки мне было трудно писать. Я писал в продолжение 4 месяцев, и когда кончил и хотел отдать в журнал моего друга, разнеслась весть, что журнал его прекратился. Неблагодарная публика не умела оценить прекрасных статей, помещенных в ученом журнале. Мне не хотелось, чтоб статья моя, над которой я столько трудился, пропала, и я решился ее поместить в «Москвитянине». В этом номере помещаю только предисловие к ней.

Боже мой, какая участь ожидает меня! Есть у нас в литературе человек пять великих энергических личностей, которые посвятили всю жизнь свою на преследование

и осмеяние людских пороков. Любовь к человечеству и ненависть к порокам в них так сильна, так сильно они алчут исправления рода человеческого, что без жалости клеймят и позорят каждого, кто порочен или кажется им порочным. Больше всего они преследуют два рода порочных людей: плохих писателей и своих литературных противников, — и преследуют беспощадно. Это они делают, во-первых, из любви к истине и ненависти ко всему, где она каким-нибудь образом искажается; во-вторых, из беспредельной страсти к русской литературе и желания ее исправить. Пером их никогда не водит личная ненависть и пристрастие или лицепритие. Напротив, они до такой степени любят человечество и литературу, так сильно желают общей пользы и исправления людских пороков, что сам Лессинг в сравнении с ними может показаться эгоистом, пристрастным критиком и человеком с мелкими видами и низкими стремлениями. Вот какие у нас в литературе есть энергические и глубокие натуры, и их можно насчитать до пяти. Какое богатство!

Какой энергический и оригинальный характер носит их полемика! Какой прекрасный тон в ней господствует! Осмеивая плохих писателей или своих литературных противников, они не ограничиваются тем, что беспощадно глумятся над их произведениями, но издеваются также над их личностями, описывают их домашний быт, рассказывают про них анекдоты, вовсе не касающиеся литературы, рассказывают все сокровенные их дела и таким образом уничтожают их совершенно. Часто, не называя их по имени, они распускали о них самые оскорбительные слухи, говорили им такие дерзости, каких ни один стоик перенести не может; описывали все их семейные отношения и исчисляли все их домашние и семейные провинности. И для того чтоб все знали, кто те, о которых пишут и не называют по имени, они описывали все их приметы, костюм, голос, лицо и даже намекали на место жительства. Распубликованный таким образом человек не смел никуда показать глаз: все на него указывали пальцами, все над ним смеялись. Случалось, что выступал на литературное поприще молодой неопытный человек, предлагая на суд публики свои первые и слабые литературные опыты. Они бросались на него беспощадно, смеялись и ругались над его сочинениями в отделе критики или библиографической хроники, да кроме того, помещали в смеси статейку, в которой описывались и его любовные отношения, и его наружность, и костюм, и прическа, рассказывалось, и куда он ходит, и какие горячительные напитки употребляет, и проч., проч. Чтобы публика знала, о ком говорится, они выписывали отрывки из его сочинения и говорили: «Вот что пишет делающий то-то и то-то». Нам доводилось видеть, что молодые люди, которых для первого литературного дебюта встречала так ласково критика, приходили в совершенное отчаяние. Да и как было не прийти в отчаяние! Представьте себя на их месте. Вы молодой человек, мечтаете о высокой деятельности, полны благородных стремлений, в вас есть самолюбие, и вдруг вас так озадачивает отечественная критика. Что вам делать?! Делать вам нечего: приняться за какую-нибудь деятельность вы не можете, потому что вам доказано, что вы человек бездарный и неспособный; искать развлечения в обществе тоже нельзя — на вас там будут указывать пальцами как на человека распубликованного. Что же вам делать?! Ничего.

О, человек пять энергических личностей, существующих в нашей литературе, я знаю, что вы делаете все вышеупомянутое не из одной охоты поглумиться и потрунить, не от нечего делать, не от скуки, не для приятного препровождения времени! Нет! Если б вы это делали из таких побуждений, то это было бы крайне бесчеловечно с вашей стороны; ибо бесчеловечно оскорблять человека и губить его карьеру из одного желания поглумиться, для приятного препровождения времени, от нечего делать. Нет, вы это делали из глубокой, могучей ненависти к порокам, из непомерного желания истребить их и из беспредельной любви к ближнему.

И меня ожидают ваш гнев и ваши бичи!.. Будьте милостивы, господа! Пощадите меня, я еще так молод, я еще так мало наслаждался жизнью! Вы, верно, сами хоть когда-нибудь были молоды, вы, верно, знаете, что такое жалость! Сжальтесь, сжальтесь, сжальтесь надо мною! Сжальтесь! Может быть, у кого-нибудь из вас, как и у меня, есть мать старушка, для которой он дороже всего на свете. О, сжался надо мною, безжалостный, но справедливый каратель! Сжался, сжался! *Grâce, grâce, grâce, grâce, — grâce pour moi et grâce pour toi!*¹³ Но нет, вы не умиосердитесь надо мной, не тронетесь моей мольбою! О, какая участь ожидает меня! Вы разругаете мое сочинение, разругаете меня, опишете мою скверную физиономию, расскажете все мои домашние обстоятельства, разругаете всех моих родных, как то: отца, мать, теток, дядей, братьев и двоюродных братьев, сестер и двоюродных сестер. Вы расскажете обо всех моих долгах: кому, где, сколько, за что и давно ли я должен, и таким образом совсем загубите мою карьеру, так что мне нельзя будет никуда показаться и жениться.

Но нет, делайте со мной, что хотите... я не боюсь вас... я жертвую собой для общей пользы... Есть между вами один господин, который большой мастер трунить над писателями и бойко пишет пародии на их произведения! Чем ему губить всех плохих писателей, пусть лучше погубит одного меня. Пусть он идет на бой со мной!

Решим войну единоборством,
Пускай один из нас падет.

До свидания, великие энергические личности! До свидания! Поздравляю вас с наступающим праздником

и остаюсь любящий вас

Эраст Благодравов

¹³ Смилуйся, смилуйся, смилуйся, смилуйся, — смилуйся надо мной и смилуйся над собой (франц.).

Сон по случаю одной комедии. Предуведомление

Впервые: М. 1851. № 7. С. 231–256. Без подписи. Цензурное разрешение — 01.04.1851. Цензор Д. С. Ржевский.

Переизд.: Алмазов. Т. 3.

Б. Н. Алмазов был самым молодым членом «молодой редакции» и начал свою писательскую карьеру в журнале Погодина. Начало его карьеры было необычайно эффектно: Алмазов выступил в журнале с циклом ярких фельетонов, скрываясь под литературной маской Эраста Благодурова. Каждый из этих фельетонов вызывал литературный скандал, становился предметом обсуждения в литературных кругах и вызывал ответы, подчас очень резкие, со стороны других изданий. Алмазовым руководило «непреодолимое желание ругаться и драться со всем, что есть пришлого, басурманского в нашей литературе и нашей жизни» (см. ниже). Видимо, именно это придавало его статьям смелость и резкость, привлекавшие внимание читателей. Литературную деятельность молодой критик считал исключительно важным и серьезным делом (неслучайно в письмах слово «Литература» он обычно писал с заглавной буквы), хотя этому делу он служил в ироничной форме. В 1852 г. он пережил «внутренний перелом» (см. *Основат А. Л.* Алмазов Борис Николаевич // *РП.* Т. 1. С. 49), после которого почти полностью отказался от фельетонной иронии. В «серьезных» статьях (Алмазов некоторое время обозревал «Современник») критик был подчас догматичен, а его эстетические воззрения и литературные вкусы — устаревшими. Тем не менее, Алмазов, наряду с Ап. Григорьевым, оказался одним из наиболее убежденных в своей правоте сотрудников погодинского журнала и одним из наиболее принципиальных оппонентов «петербургской» литературы.

Статья «Сон по случаю одной комедии» — первое и в то же время одно из наиболее ярких критических выступлений Б. Н. Алмазова под фельетонной маской Эраста Благодурова. «Предуведомление», формально связанное с опубликованным через один номер «Сном», по сути

является вполне самостоятельным текстом. Эти фельетоны объединяет не столько общий сюжет, сколько фигура повествователя и его речевая манера. Как и «Сон», «Предупреждение» — один из ключевых эпизодов полемики «Москвитянина» с петербургскими журналами.

Жанр журнального фельетона ко времени выступления Эраста Благонравова имел уже давно сложившуюся традицию, восходящую к фельетонам Барона Брамбеуса О. И. Сенковского. Однако ближайшим значимым контекстом для Алмазова являются, безусловно, современные ему фельетоны И. И. Панаева и А. В. Дружинина, в полемику с которыми он вступает. Сохраняя все традиционные жанровые черты (открытость любым темам, особый стилистический ключ, панибратское отношение к воображаемому читателю и т. д.), призванные резко противопоставить фельетон «серьезным» журнальным статьям, Алмазов одновременно рефлексировал и над границами этого журнального явления. Доводя непринужденность фельетона до абсурда, критик «Москвитянина» подспудно говорит и о неприемлемости фельетонной манеры для обсуждения действительно значимых вопросов. Poleмика с жанром как таковым отвечала и содержательным задачам Алмазова, бросающего вызов как манере говорить о литературе, принятой в текстах Иногородного Подписчика и Нового Поэта, так и их литературным оценкам.

Эраст Благонравов постоянно ощущает себя окруженным врагами и недоброжелателями. С одной стороны, эта позиция отвечает внутренней готовности Алмазова активно включиться в спор «Москвитянина» с «петербургской» журналистикой по принципиальным вопросам. Еще до появления Эраста Благонравова Алмазов писал Погодину: «Я чувствую в себе непреодолимое желание ругаться и драться со всем, что есть прошлого, басурманского в нашей литературе и нашей жизни. Меня не запугивают никакие нападки моих будущих противников. Мне всегда слышится и разжигает меня и раззадоривает великое энергическое изречение Ломоносова: я на борьбу с врагами наук российских жизнь мою обрекаю. Вот клич, по которому должно воспрянуть младшее поколение. Знаю, что, ежели я объявлю войну левой стороне и левому центру, — на меня накинутся все и что даже люди, которых я душевно люблю и которые мне отвечают тем же, отвернутся от меня... Вы видите, что я не боюсь никого» (Барсуков. Кн. XI. С. 381–382; письмо не датировано).

С другой стороны, «враждебность» Эраста Благонравова выстроена по контрасту с принципиальной миролюбивостью петербургских фельетонистов. Игровая затравленность, мнительность Благонравова проявилась не только в фельетонных выступлениях, но и в личной переписке самого Алмазова. Так, после выхода «Предупреждения» Алмазов обратился к Погодину за гонораром, объясняя нужду в деньгах следующим образом: «Я бы, право, не стал вас беспокоить (я не сребролюбец!), но праздник на дворе, будет гулянье под Новинским, надо перчатки и все это-кое кушить. А то ведь теперь беда: статей моей я нажил себе таких врагов, что теперь покажись-ка я на гулянье в старой шляпе и без перчаток, — так тебя просмеют, что совсем погубишь во цвете лет» (Барсуков. Кн. XI. С. 382).

Первые выступления Эраста Благонравова действительно вызвали недовольство у самых разных читателей. Д. В. Григорович выразил свое мнение о нем в письме Погодину: «Зачем, скажите, появился этот задорный французик Эраст? Что нашли вы в нем хорошего? Вы знаете, я ведь не принадлежу ни к каким журнальным приходам, — и в этом случае могу говорить как посторонний. Не знаю, кто этот Благонравов. Если он все тот же Алмазов, — душевно о нем сожалею, то есть об Алмазове. Посоветуйте-ка ему прочесть хорошую книгу: “Un grand homme de province a Paris” <“Великий провинциал в Париже” — франц.> — Бальзака; вы сделаете доброе дело; чтобы увидеть, что значит приучать себя с осьмнадцати лет огрызаться и начинать литературное поприще с задворок журнальной полемики. К тому же, право, эти статьи не соответствуют строгому тону “Москвитянина”; они решительно отнимают у него достоинство. Это все равно, что Кремлевские стены оклеивать неблагопристойными картинками» (Барсуков. Кн. XI. С. 390; дата письма неизвестна). Противники Благонравова обнаружили и в кругу, близком к «молодой редакции». Писемский писал Погодину: «На меня самым неприятным образом подействовал ваш Эраст Благонравов своим тупым остроумием, своею претензией на что-то и, наконец, своим тоном <...> Такой серьезный журнал, как “Москвитянин”, не должен позволять так дурачиться на своих страницах» (Писемский. Письма. С. 36; дата письма неизвестна). Писемский мог увидеть намек на свою повесть «Нина» в описании сюжетов повестей *x* (см. ниже).

Принципиальной проблемой для понимания выпадов Благонравова являются фигуры *x* и *y* — двух друзей повествователя, представляющих противоположные полюса в эстетическом и бытовом отношении. Скорее всего, речь изначально не шла о конкретных литераторах, а в образах персонажей объединяются черты различных литературных деятелей.

Так, *x* определенно представляет литератора круга «Современника», который москвитянинцы называли журналом «великосветским». Алмазов в данном случае выражал не только свою позицию, но и вообще отношение «москвитянинцев» к «Современнику», из круга которого, по их

мнению, в принципе не могло появиться серьезного произведения (см.: *Зубков*. С. 40–41). Аналогичное отношение к петербургской журналистике и критике высказано, например, в статье Григорьева «Русская литература в 1851 году» (см. наст. изд.). «Натуральная» и «сатирическая» составляющая повестей *х-а* отнюдь не противопоставлены друг другу, а выглядят дополняющими друг друга свойствами «великосветской» литературы. Наиболее близким конкретным объектом нападок критика «Москвитянина» оказывается Новый Поэт, в фельетонах которого действительно встречаются рассуждения о правилах хорошего тона и модном костюме. Сама светская репутация Панаева, совпадающая в ряде черт с репутацией *х-а*, упоминание в тексте «Предупреждения» его романа «Великая тайна одеваться к лицу» позволяют считать именно Панаева ближайшим прототипом персонажа Алмазова. В целом, образ Эраста Благонравова задумывался как явно полемический и пародийный по отношению к Новому Поэту (ср. открытый «вызов» ему в конце статьи). В этой перспективе сам «Сон» и «Предупреждение» могут рассматриваться как реплика на статью Панаева «Странный сон. Письмо Нового Поэта к издателям “Современника”» (С. 1851. № 1), в котором рассказчик также видит себя начинающим автором, рассылающим в редакции письма с просьбами и требованиями публикации своих стихов. В то же время неверно видеть в *х* только сатирическое изображение Панаева. Сочиняемые героем «натуральные и сатирические» повести обладают чертами самых разных произведений авторов петербургских журналов.

С *у* дело обстоит сложнее: это образ увлеченного и до комической степени скрупулезного ученого, значение изысканий которого оказывается ничтожным. Сам этот упрек в избыточном погружении в малоинтересные исторические подробности мог быть направлен в целом на сложившиеся к этому времени принципы историографического письма. Ближайшим объектом пародии Алмазова мог быть, например, «Временник императорского Московского общества истории и древностей российских», содержащий множество статей, структура заголовков и предмет рассмотрения которых действительно напоминали исследование «О вилке Дария Истаспа» (примеры заглавий см. в коммент. ниже). Тот факт, что одним из постоянных авторов «Временника» и действительным членом Общества был редактор «Москвитянина» М. П. Погодин, не отменяет предложенной интерпретации. Сама идея насмешки над собственным сотрудником органична как для поэтики Благонравова (во второй части статьи появляется персонаж, напоминающий Григорьева), так и вообще для отношения москвитянинцев к правилам журнальной полемики: если можно хвалить собственных сотрудников, как в статьях Островского о Писемском или Григорьева об Островском (см. наст. изд.), то позволительно над ними и смеяться.

Погодин, очевидно, узнал себя в *у*. По крайней мере, об этом позволяет судить редакторская заметка: «На святой неделе донесли до меня разные толки и даже неудовольствия по поводу статьи “Сон”. Поневоле вспомнишь слова Гоголя: напиши у нас что-нибудь о таком-то коллежском асессоре, и тотчас все коллежские асессоры со всей России оскорбятся, откликнутся и выразят свое неудовольствие. А между тем эти же господа кричат о гласности! Прочитав “Сон” в рукописи, признаюсь, я увидел некоторые свои черты, например: у меня бывало несколько раз расположение занятий по часам, хоть и не исполнялось аккуратно. Я не думаю даже, чтоб у кого-нибудь из занимающихся людей не бывало когда-нибудь подобных табличек. <...> Еще черта: долго, очень долго не находил я никакого удовольствия в прогулке, как *х* или *у*: книги и книги, только вместо классиков Шлегель и Карамзин» (М. 1851. № 8. С. 387). Однако, как указал в процитированной выше заметке и сам Погодин, образ *у* остается собирательным. Жалобы на «мелкотемье» научных статей в это время появляются в самых разных изданиях. Так, в стихотворении Нового Поэта «Беседа журналиста с подписчиком» подписчик жалуется редактору на отдел «Науки»: «Притом какие вы трактуете предметы? / Проказы домовых, пословицы, приметы / О роли петуха в языческом быту / Значенье кочерги, история ухвата... / Нет, батюшка, таких статей нам не надо» (С. 1851. № 8. Отд. VI. С. 14; очевидно, Алмазов здесь имел в виду, в первую очередь, сочинения А. Н. Афанасьева).

Литературные параллели во многом определяют и образ самого Эраста Благонравова, впервые введенный в этой статье. История столичных похождений восторженного романтика, направляемого «практическим» наставником, явно ориентирована на сюжетные ходы «Обыкновенной истории» (1847) И. А. Гончарова. Уже описание встречи Эраста Благонравова и *х* явно отсылает к гончаровскому роману: «В сладостном волнении *я* бросился к нему, хотел броситься ему на шею, но он чрезвычайно ловко высвободился из моих объятий, увернулся от поцелуя и чрезвычайно бонтонно и умеренно подал мне руку» (с. 95), — явно напоминает встречу Александра Адуева с дядей: «Только что Петр Иванович расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием» (Гончаров. Т. 1. С. 210). Вопреки знаменитой трактовке романа в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу

1847 года», фельетонист явно скорее сочувствует наивному герою. Одновременно с этим образ Эраста Благонравова воспринимается и на гоголевском фоне. Так, эпизод, в котором герой, играя в карты, заметил прекрасную девушку и «вдруг помолодел, забыл и свои “практические” намерения, и желания сделаться “порядочным” человеком, и требования XIX века, прекрасно выраженные современной журнальной литературой, и самую журнальную литературу, и преферанс, и весь мир» (с. 98), близок к фрагменту из «Мертвых душ», где Чичиков встретил дочь губернатора и «вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него» (Гоголь. ПССиП. Т. 7. Кн. 1. С. 158; ср. далее обсуждение слухов о Наполеоне, явно отсылающее к «Мертвым душам»). В обоих случаях рассказчик колеблется, объяснить ли такое впечатление возвышенной или низменной причиной, а рассеянность героя ведет к неприятностям в «порядочном» обществе. Эти параллели свидетельствуют как о самоиронии Эраста Благонравова, так и о восприятии Алмазовым гоголевской традиции как направленной против натуральной школы.

На появление в «Москвитянине» нового фельетониста оперативно отреагировал И. И. Панаев в очередных «Заметках Нового Поэта» (С. 1851. № 5. Отд. VI. С. 52–53). Отвечая на нападки, прямо адресованные Новому Поэту, Панаев утверждает, что в повороте «от любви, мечтательности и стихов» к «практическому и порядочному» человеку, действительно, нет ничего вредного и шутливо признается, что ему было бы приятно стать наказанием «мечтателям, вздыхателям, страдальцам и плохим стихотворцам». Панаев высмеивает «трогательное усилие» Эраста Благонравова «быть острым и ироническим во что бы то ни стало».

Публикация статьи в «Москвитянине» содержит большое количество типографского брака, которым вообще отличалось погодинское издание. В частности, неверно напечатаны колонки в таблице, которую обнаруживает главный герой на стене в комнате у. Поэтому в № 8 «Москвитянина» была напечатана шутливая заметка Алмазова, в которой исправление опечаток сочеталось с балагурством по поводу реакции х и у на «Предупреждение». К заметке прилагалось юмористическое «письмо» в редакцию «Москвитянина», в котором аноним (несомненно, схожий с Добчинским из гоголевского «Ревизора», упомянутым в тексте «Предупреждения») настойчиво просил объявить читающей публике, что автором статьи является «не он». В настоящем изд. явные опечатки исправлены (кроме того, внесены и исправления согласно указаниям Алмазова), но поскольку тексты «писем» раскрывают определенные черты замысла самой фигуры Эраста Благонравова, считаем необходимым привести их здесь целиком:

ПИСЬМО

Эраста Благонравова к редактору «Москвитянина»

В конторе «Москвитянина» получено письмо на имя М. П. Погодина. Содержание этого письма следующее:

М<илостивый> г<осударь> М<ихаил> П<етрович>. Позвольте вас поздравить с праздником и пожелать вам и журналу вашему всякого благополучия и приятного препровождения времени. А о себе скажу, что я с моим семейством, слава богу, здоров и очень огорчен моей статьей, чего и всем от души желаю. Но меня огорчает в моей статье совсем не то, что должно огорчить других: то, что меня в ней огорчает, только их обрадует. Меня огорчают страшные, многочисленные и оскорбительные для меня опечатки, которыми испещрена дорогая моему сердцу статья «Сон по случаю одной комедии», напечатанная в 7 № «Москвитянина» «сего» (как пишут еще некоторые) 1851 года. — Вы себе представить не можете, как меня бесят и огорчают эти опечатки! Опечатки в такого рода статье, как моя, — дело ужасное. В *простой* статье опечатки ничего не значат, но в *моей* статье они очень много значат. *Простой* статье опечатки очень мало вредят; они ей иногда и совсем не вредят, а иногда даже бывают ей полезны, сообщают ей интерес и занимательность. Но *моей* статье они вредят; они уж даже ей повредили, скажу более — они погубили ее навсегда. В *простой* статье, то есть статье мирного содержания, будь хоть в миллион раз более опечаток, чем в *моей*, — статье этой ничего бы не было, она бы благополучно, тихо скончалась смертью доброго человека. Но моя статья по милости опечаток осуждена претерпеть самые ужасные литературные и журнальные муки. О, для чего моя статья не простая статья, не статья мирного содержания!

Объяснюсь.

Милостивый государь! Не знаю, почему-то моя статья доставила мне очень много врагов, которые не знают, как удобнее мне повредить. Удобство это представляют им опечатки в моей статье. О, как они рады им! Не будь их (опечаток), им (моим врагам) нечем бы было в меня бросать... Помяните мое слово, милостивый государь, что они будут распускать слухи, что опечатки, покрывающие мою статью, не суть *опечатки*, но просто-напросто *ошибки*, обличающие в авторе невежество, безграмотность, низость характера и неблагодарность; между тем как автор очень учен, очень грамотен и очень благодарен. Враги мои будут уверять всех, что мои *опечатки* суть мои *ошибки*, и уверят в этом всех — уверят даже самих себя. Да, они уверят в этом самих себя, и уверят непременно: это доставит им единственное утешение в теперешнем их несчастном положении. В моей статье они осмеяны, осмеяны ужасно и притом совершенно справедливо. Все это, в особенности последнее, они очень хорошо видят; но им хочется во что бы то ни стало уверить себя, что статья моя не хороша и глупа; но уверить себя в этом они не могут, ибо статья моя прекрасна и очень умна. Чем же им себя утешить? Единственное средство — объявить мои *опечатки* ошибками и чрез то уверить себя, что я человек безграмотный, ничтожный, что статья моя

не стоит никакого внимания и что, следовательно, они могут не обижаться, вспоминая о тех горьких истинах, которые я им высказал.

У взбешен моей статьей ужасно. *X* еще о ней не знает, да и едва ли когда-нибудь узнает: он не умеет читать по-русски. С этой стороны я обеспокоен; одного я только боюсь, как бы враги мои не прочли ему моей статьи. Что же касается до *Y*, то он умеет читать по-русски и читает очень твердо. Оттого, прочитав мою статью, он обиделся — принял много на свой счет. «Ты печатно описал мой характер весьма подробно и чрез то осмеял меня», — сказал он мне. «Да разве характер твой нехорош и достоин смеха, что тебе неприятно видеть его описание?» — отвечал я ему. Во время этого краткого, но необыкновенно сильного разговора мне пришел на память следующий очень простой анекдот. Один человек был очень дурен лицом; другой написал, любя его, его портрет, который всех поразил своим сходством с оригиналом: тот, с кого был снят этот портрет, обиделся и назвал живописца низким человеком, причем горько заплакал...

Итак, как я уже сказал выше, *Y* обиделся. Но это бы еще ничего; ужасно и оскорбительно то, что он указывает на *опечатки* в моей статье и уверяет всех, что это *ошибки* и что я не знаю по-латыни; между тем как ему, другу моего детства, больше чем кому-нибудь известно, что я превосходно знаю по-латыни.

Сделайте милость, милостивый государь, возьмите на себя труд сказать всем, что в моей статье нет ошибок, а есть только *опечатки*, которые принимают за *ошибки*.

Теперь укажу вам, в чем именно состоят главнейшие *опечатки*, украшающие мою статью.

На странице 235 напечатано вместо: «*Я шел неохотно*» — «*X шел неохотно*». — На странице 237-й вместо: «*Le cynisme des moeurs*» напечатано: «*le cynisme de moeurs*». На этой же странице бесчеловечно исковеркан знаменитый латинский стих — *Si natura negat facit indignatio versus*; вместо *versus* по не зависящим от редакции причинам поставлено «*verbum*». — В конце 238-й страницы вместо слова *напущенный* употреблено похожее слово *напыщенный* и таким образом смысл целого периода искажен. — На 239-й странице опозорены стихи моего искреннего друга, известного Горация. Вместо:

Neque excitatur classico miles truce:
Neque horret iratum mare
Forumque vitat et superba civium
Potentiorum limina

Напечатано черт знает что, а именно:

Ne que excitur classico milesita ruce,
Ne que horret iratum mare
Forum que vitat et superba civium
Potentiorum limina...

На странице 249-й, в знаменитой таблице моего друга *Y*, перепутаны *дни* и *часы*; слава богу, что хоть предметы не искажены! — На 253-й странице напечатано «*Лжесмердас*». Отчего ж бы не *Лжесмердис*? Эдак, мне кажется, гораздо лучше. — На странице 253-й же напечатано: «прочитав помянутый отчет, мне вдруг захотелось что-нибудь написать». Читайте это так: «прочитав помянутый отчет, я стал тревожно ходить по комнате: мне вдруг захотелось что-нибудь написать». — На странице 255-й вместо: «вы, молодой человек, мечтаете о *высокой* деятельности», напечатано: «вы, молодой человек, мечтаете о *выгодной* деятельности». Здесь большая разница между *выгодной* и *высокой*. На странице 241-й вместо: «на голове его был *зеленый* колпак», напечатано «на голове его — *зеленый* колпак». На странице 235-й вместо: «*была между нами одна общая черта*», напечатано «*была только одна общая черта*». — На странице 242-й, в разговоре моем с *X*, в одном месте (в 22-й строке, считая сверху) вместо *X* напечатано *Я*, между тем как между мной и *X* есть большая разница.

Вот некоторые из главных *опечаток*. Об остальных я не упоминаю или потому, что они этого не стоят, или потому, что их не припомню. У меня нет времени припоминать и отыскивать их. Я занят хозяйством: из деревни приехал староста; надо с ним потолковать о важном деле. В одной из моих многочисленных деревень случился пожар — сгорело 15 дворов. Надо идти толковать со старостой о том, как помочь бедным моим мужичкам после такого урона, — как их обстроить, обзавести, словом, поправить, и потому мне некогда поправлять *опечатки*. Да, господин *Y*, мне не до *опечаток*, когда на моем попечении 500 душ по новой ревизии. За них я буду отвечать Богу, а за *опечатки* — только критике.

Впрочем я сам кругом виноват в том, что у меня в статье явились *опечатки*: я не держал второй корректуры... я уже было шел в типографию, чтобы поддержать там вторую корректуру, да на дороге влюбился и воротился домой. Ведь вы знаете, что я человек не практический, что я идеалист и мечтатель — где же мне держать вторую корректуру! До свиданья! Остаюсь готовый к услугам

Эраст Благоднравов

Р. S. Заказал я себе еще новое платье, по преимуществу летнее. О том, какие именно предметы я себе заказал, упомяну в свое время. Здесь скажу только, что я заказал много. Причиною этому моя статья «*Сон по случаю одной комедии*». Она, как я уже вам сказал, доставила мне пропасть врагов. Поэтому мне теперь должно как можно тщательнее и лучше одеваться, а то, того гляди, враги мои заметят какой-нибудь недостаток в моем туалете и станут об нем разглашать и публиковать.

Еще считаю вам за нужное сказать, что я пишу также стихи. Этим я занимаюсь между делом — в свободное время, которое практические люди, подобные Х, употребляют на игру на бильярде, на игру в шахматы, на игру в карты и на другие невинные занятия. Я ни во что не играю, и мне кажется, что гораздо полезнее *в свободное время* писать стихи, хотя и плохие, чем играть в помянутые игры; даже мне кажется полезнее в это время просто *мечтать*, чем играть в помянутые игры. — Не угодно ли вам напечатать одно из моих стихотворений?

Еще Р. С. Пишите, пожалуйста, ко мне почаще. Не затрудняйтесь тем, что не знаете моего адреса: это ничего — я и сам его не знаю. Потому утештесь!

Далее следует не подписанное «Письмо от неизвестного к редактору “Москвитянина”» без подписи, полностью воспроизведенное в одном из фельетонов Панаева (см. наст. изд., с. 145). Под письмом были указаны место и дата написания, очевидно, шуточная: «Москва, 1851 года, 1-го апреля». Панаев, переписав письмо, иронически его прокомментировал (см. наст. изд., с. 146). Анонимный рецензент «Отечественных записок» именно по поводу «Письма неизвестного» развернул сокрушительную критику «Сна» и вообще фигуры Эраста Благонравова, которому, как и в отзыве Нового Поэта, в упрек ставилось полное отсутствие остроумия: «Какой-то г. “Неизвестный” в письме к редактору (№ 8) назвал эту статью “гнусной”. Нам кажется, это слишком сильно сказано. Чем заслужила статья такой резкий отзыв? Тем ли, что резких отзывов добивается каждое мелкое самолюбие, желающее во что бы то ни стало выставить в литературный мир свою печальную личность? <...> Тем ли, что в статье нет ни складу, ни ладу? <...> Тем ли еще, что в авторе ее, при отсутствии остроумия, есть величайшее наслаждение своим остроумием? <...> Тем ли, в-четвертых, что пустота содержания доходит до такой степени, на которой она становится уже не просто пустотой, а пустотой интересной?» (ОЗ. 1851. № 8. Отд. VI. С. 141–142). Абсурдное «Письмо неизвестного» критик «Отечественных записок» сопоставил с «Записками сумасшедшего» Гоголя, а самого Эраста Благонравова — с Эрастом Чертополоховым, героем одноименного цикла рассказов-фельетонов П. Л. Яковлева, опубликованных в 1828 г. в «Благонамеренном».

Уже после выхода самого «Сна по поводу одной комедии» Алмазов выступил с еще одним «Письмом Эраста Благонравова», имеющим подзаголовок «Argumentum» (М. 1851. № 12. С. 365–377). В этом письме Алмазов в привычной уже шутливой манере развивает некоторые темы «Предупреждения» и отвечает на критику Нового Поэта, высказанную в № 5 «Современника». Письмо начинается с благодарностей, которые приносит фортуна Эрасту Благонравову за участь, постигшую его после выхода «знаменитой» статьи. Сообщается о том, как иксы и ипреки приняли «Предупреждение». Ипреки перенесли статью «с внутренним достоинством». «Ипреки не притворились только, что они твердо переносят несчастье, их постигшее, но они действительно перенесли его таковым образом в душе своей» (С. 365). Иксы, напротив,отреагировали на статью крайне бурно. Рассказывается, как один икс до того близко к сердцу принял «Предупреждение», что слез в постель, а друзья его «воздвигли гонения» на Благонравова и его родственников. Жена другого икса «увидала своего мужа печатно осмеянного» и «навсегда потеряла к нему всякое уважение» (С. 369). По этому шуточному поводу Алмазов предпринял очередной выпад против петербургской журналистики:

Редкая жена не охладает к мужу, осмеянному отечественными журналами. Одна моя знакомая дама замужем за литератором, которого аккуратно каждый месяц осмеивают все русские журналы. Муж для поддержания семейного счастья принужден всячески стараться, чтобы жене его не попались в руки отечественные журналы. Жена постоянно и убедительно просит его выписать хоть один русский журнал и говорит, что подружки ее очень хвалили петербургские журналы и рассказывали, что там помещаются очень интересные статьи. Но муж ее обыкновенно отвечает, что подружки ее ничего не смыслят, чтоб она их не слушала, что они черт знает чему научить ее могут, а что журналы читать не следует, что они портят вкус, потому что пишутся наскоро, что в них все хорошо только сегодня, а что завтра будет старо, что в них нет ничего вечного, ничего *абсолютно* прекрасного; что должно читать только классических писателей, абсолютно прекрасных, вечных, каковы: Ломоносов, Державин, Карамзин, Дмитриев, Жуковский и Пушкин. Вот что значит опрометчиво жениться! (С. 370)

Чтобы отомстить Благонравову, его враги, оскорбленные им иксы, решили написать ответ на его статью. Автором этого ответа и стал Новый Поэт. Вступая в схватку с Новым Поэтом, Благонравов сначала опровергал малозначимые упреки Панаева, а затем предложил несколько серьезных соображений. Так, в «письме» Алмазов защищал право одного из своих коллег (очевидно, Григорьева) пользоваться эстетическими положениями романтической эстетики, в России связанными с наследием Белинского:

С чего также взяли корреспонденты «Современника», что «молодая» редакция хочет прослыть основоположницей новых литературных понятий? Достоверно не знаю, сами ли господа корреспонденты облыщались или им донесли облыжно. — Любопытно, что Новый Поэт находит предосудительным, что «Москвитянин» в отделе библиографии повторяет эстетические положения одного нашего журнала начала сороковых годов. Один из сотрудников «Москвитянина», кажется, хочет объяснить Новому Поэту причину таких повторений. Он хочет сказать,

что хотя эстетические положения, которые он высказывал при разборе некоторых художественных произведений, давно известны, но из странных мыслей, которые обнаруживают в своих суждениях некоторые русские критики, заметно противоречие самым известным, самым, так сказать, первоначальным элементарным положениям эстетики. Поэтому помянутый сотрудник «Москвитянина», полагая, что русские критики позабыли помянутые положения эстетики и что не худо им проверить зады, повторяет им иногда старые истины (С. 374).

Таким образом, это письмо одновременно продолжает сатирические линии «Предупреждения» про иксов и итреков, развивает образ Эраста Благодина и в то же время содержит ряд серьезных претензий в адрес Нового Поэта. На это Панаев ответил в «Заметках Нового Поэта...» (см. наст. изд., с. 138).

Статья Алмазова, судя по всему, вызвала неприятности в цензуре: с критика была взята подписка не включать в свои статьи карикатурные изображения отдельных лиц (см. коммент. к статье «Сон по случаю одной комедии», наст. изд., с. 618, 619).

С. 89. *Драматическая фантазия, с отвлеченными рассуждениями, патетическими местами...* — Алмазов пародирует подзаголовки драматических сочинений первой половины XIX в. Ср. у А. А. Шаховского: «Двумужница, или За чем пойдешь, то и найдешь: Романтическая драма в двух частях и пяти сутках, с принадлежащими к ней протяжными, плясовыми, хороводными, подблюдными и разбойничьими песнями, плясками, хороводными и святочными играми» (1836); «Волшебная лампадка, или Кашемирские пирожики: Волшебно-комическая опера-водевиль в трех действиях, с хорами, балетами, превращениями и великолепным спектаклем» (1829). Подзаголовок «драматическая фантазия» имел, например, перевод комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», выполненный А. Ф. Вельтманом (1844).

С. 89. *Я видел сон, но не все в том сне было сном.* — Первая строка стихотворения Байрона «Тьма» (1816). Изображенные в нем ужасы, происходящие из-за исчезновения солнца, возможно, иронически сравниваются Алмазовым с положением дел в русской словесности.

С. 89. *И бысть ему сон в ночи.* — Фраза из пьесы «Свои люди — сочтемся!», на которой приход Большова обрывает рассказ Ресположенского о старце, отце двенадцати дочерей, вынужденном просить у Бога заступничества (д. I, явл. 8). Содержание сна остается неизвестным. Источник эпиграфа не указан, по всей видимости, по цензурным соображениям.

С. 89. *Он заснул...* — Ссылка на «эпиграф одной современной повести», вероятно, ложная. Алмазов обыгрывает саму моду на использование большого количества ничего не значащих эпиграфов, характерную для этого времени. На эту моду ранее обратил внимание Дружинин: «Употребление эпиграфов доведено многими известными и неизвестными писателями до крайних пределов возможности. Самым нестерпимым в этом отношении человеком может назваться Эдвард Литтон Бульвер, автор “Евгения Арама” и “Последних дней Помпеи”: у этого господина перед каждою главою романа находится страничка, вся испещренная цитатами из мертвых, полумертвых и живых авторов на всех языках, которые употреблялись или употребляются в Европе, но преимущественно на языках, ныне неупотребительных. Из русских писателей г. Славин если не достиг до известности Бульвера, зато изобилием эпиграфов далеко оставил за собой британского романиста» (Дружинин. Т. 6. С. 308; впервые: С. 1850. № 4). Дружинин далее иронизирует над романом в стихах Е. П. Ростопчиной «Поэзия и проза жизни, дневник девушки», опубликованным в «Москвитянине». Фельетонист «Современника» обнаруживает здесь один общий девиз и «четыре дополнительных эпиграфа на разных языках», затем три эпиграфа к «посвящению», два эпиграфа к первой главе и три эпиграфа ко второй. Образец бессмысленности Дружинин отыскал в поэме «Последний из рода человеческого, или Видение в степях Аравии»: «О! о! о!!! (Шекспир — “Отелло”))» (там же. С. 309).

С. 89. *Наш XIX век ~ веком практическим, дельным, деловым.* — «Практическим» XIX век называли не только иностранные авторы. Ср. в «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова (1847): «Я предсказал тебе, что ты не привыкнешь к настоящему порядку вещей, а ты понадеялся на мое руководство, просил советов... говорил высоким слогом о современных успехах ума, о стремлениях человечества... о практическом направлении века — ну вот тебе!» (Гончаров. Т. 1. С. 423). Появляется этот мотив и в повести Григорьева «Один из многих» (1846): «Он сам носил в себе семена практического XIX века, и один из первых занялся плодотворным хозяйством» (Григорьев. Воспоминания. С. 203).

С. 89. *...чувствительность и мечтательность в нем выведены из употребления стараньями новейшей журнальной литературы.* — Против «чувствительности и мечтательности» «петербургские» критики и журналисты выступали неоднократно (ср., например, анализ образа гончаровского Александра Адуева в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года»). Здесь, вероятно, имеется в виду Панаев (см. ниже).

С. 89–90. Она отсоветовала ему писать стихи ~ человек хорошего тона. — Доля поэзии в журналах 1840–1850-х гг. была невелика. В «Письме Нового Поэта к издателям “Современника”» Панаев, отвечая на упреки «Отечественных записок», писал: «Не считая нужным вступаться за *непризнанных поэтов* <...>, я должен заметить, что “Современник” не отличается, кажется, большою снисходительностью к поэтам и редко печатает стихотворения не только *непризнанных*, но и *признанных* поэтов, которых, впрочем, почти и нет в настоящую минуту в русской литературе» (С. 1850. № 11. Отд. VI. С. 94). Алмазов в данном случае говорит о роли самих фельетонистов «Современника» в девальвации поэзии в «журнальной литературе». Наибольший урон русской поэзии, по мнению Алмазова, наносят как раз стихотворные пародии Нового Поэта. Сам Панаев ко времени выхода «Предупреждения» уже отметился издевательскими выпадами в сторону поэзии, публикуемой в «Москвитянине»: «Вам уже известно, что я живу теперь в Москве белокаменной, в сердце России, — в Москве, которую призывали в своих сладкозвучных песнях все великие поэты русской земли, в которой издается “Москвитянин”, помещающий творения гр. Ростопчиной, гг. Мея и Берга, и где я на берегах Москвы и Яузы, полный любви и смирения, недостойный служитель Аполлона, всегда чувствую в себе несравненно более вдохновения, чем на берегах Невы» (М. 1850. № 8. Отд. VI. С. 320). Ср. также с отношением к поэзии, высказываемым в письмах Иногородного Подписчика, например: «Несколько раз я давал себе торжественное обещание никогда не говорить о стихах, не слушать стихов и не читать стихов, велел отнести на чердак ту часть библиотеки, в которой находились собрания старых альманахов и журналов, не ложился спать ранее рассвета — и, благодаря этим энергическим мерам, получил временное облегчение» (С. 1850. № 12. Отд. VI. С. 224). К теме отношений поэзии и «журнальной литературы» Алмазов вернется в «Стихотворениях Эраста Благонравова» (см. наст. изд.). Реагируя прямо на это место «Предупреждения», Панаев писал: «Совершенно справедливо. Новый Поэт, как и все порядочные люди, убежден, что мечтать, страдать, вздыхать и писать плохие стишки — нехорошо, и он очень счастлив, если послан в наказание мечтателям, вздыхателям, страдальцам и плохим стихотворцам» (С. 1851. № 6. Отд. VI. С. 52).

С. 90. ...«Великая тайна одеваться к лицу». — Роман И. И. Панаева с подзаголовком «Опыт великосветского романа в двух частях» публиковался в «Современнике» в 1847–1848 гг. (1847. № 11–12; 1848. № 1–6). Алмазов не заметил или в полемических целях сделал вид, что не заметил сложное отношение автора романа к предмету изображения: знакомя своих читателей с модными новинками, Панаев одновременно высмеивал форму и особенности «великосветского романа» 1840-х годов. Ср. у Дружинина: «Если б в модах “Современника” не печатался одно время “великосветский роман”, живая пародия на микроскопический дендизм, я бы готов был подумать, читая отдел “Мод”, что “Современник” телом и душою вдался в этот самый уморительный недостаток» (Дружинин. Т. 6. С. 286; впервые: С. 1850. № 3).

С. 90. ...сшил себе рекомендованный ею в стихах бархатный коричневый жилет... — Отсылка к стихотворению «Коричневый жилет» за подписью «Юлия Л.», опубликованному в 1848 г. в «Современнике» в разделе «Моды» сразу после первой главы второй части романа Панаева «Великая тайна одеваться к лицу». Пародия на любовное стихотворение начиналась следующими строками: «Он в первый раз передо мной явился: / На нем был бархатный коричневый жилет, / На черном шарфе бриллиант светился; / Преобладал в его костюме черный цвет...» (С. 1848. № 1. Отд. V. С. 5). В текстах «молодой редакции» шутки на тему изящной манеры одеваться литераторов «Современника» и их персонажей появляются постоянно. Так, в статье Григорьева «Русская изящная литература в 1852 году» в связи с романом Панаева «Львы в провинции» говорится о «необыкновенной привязанности автора к изящному костюму героев» (наст. изд., с. 290).

С. 90. Я любил читать Шиллера, х — романы Дюма и французские водевили, у — древних классиков. — Шиллер для круга «молодой редакции» — главный представитель идеализма в литературе. При серьезном отношении к немецкому поэту Григорьев, например, признаёт, что Шиллер «уже далек от нас» (см. статью «Взгляд на “Библиотеку для чтения” в прошлом году» — наст. изд., с. 652–653). А. Дюма-отец для «москвитянцев» — светский писатель для развлекательного чтения. В статье Григорьева «Русская литература в 1851 году» произведения Дюма оказываются в одном ряду с такими романами, как «Три страны света», «Мертвое озеро», «Битва русских с кабардинцами» и «Прекрасная астраханка» (см. коммент. к статье, наст. изд., с. 412). Пренебрежительное отношение Григорьева к Дюма разделяет Алмазов. Тексты Дюма становятся в «Предупреждении» таким же атрибутом светского салона, как французские водевили или популярный роман Франсуа Фенелона «Приключения Телемака». Представители противоположного литературного лагеря, впрочем, относительно романов Дюма с «молодой редакцией» соглашались: в «заметках» Нового Поэта встречается карикатурный «добрый малый», который не читает ничего, кроме романов Поля де Кока и Дюма (см. С. 1853. № 4. Отд. VI. С. 258–259).

С. 90. ...лексикон Кронеберга. — Имеется в виду «Латинско-русский лексикон с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова и с показанием собственных имен,

до древней географии и мифологии относящихся» (первое изд. — М., 1819–1820), составленный Иваном Яковлевичем Кронебергом (1788–1838) и выдержавший множество изданий.

С. 91. ...о домашнем быте древнего Рима. — Ср. название статьи Б. И. Ордынского: «Внешняя обстановка домашней жизни древнего грека» (ОЗ. 1850. № 11). Ср. также название цикла статей постоянного сотрудника «Москвитянина» И. Е. Забелина «Домашний быт русских царей прежнего времени. Статья первая» (ОЗ. 1851. № 2–3).

С. 92. ...все мы любили правду, ненавидели подлость и криводушие... — Вероятно, намек на Н. А. Некрасова. Алмазов воспринимал его литературную карьеру как «падение» и отказ от идеалов молодости (см. статью «Стихотворения Эраста Благодрава» и коммент. к ней, наст. изд., с. 176–177, 635–636).

С. 92. ...х пишет натуральные повести и приобрел громкую известность ~ Направление повестей х было сатирическое. — Под «сатирическим направлением» Алмазов имеет в виду близость к натуральной школе и, одновременно, к светской повести («беспощадно казнил людские пороки, воздвигал гонение на чувствительность и мечтательность, на дурную кухню, Москву, провинцию, неумение одеваться к лицу»). Между «натуральностью» и «светскостью» для «москвитянинцев» не было противоречия (см.: Зубков. С. 29–31).

С. 92. *Bonjour, madame ~ Et moi de même.* — Пародируется диалог из русского «великосветского» романа, ведущийся на примитивном французском.

С. 93. *Первая тема ~ или спивается с кругу и начинает красть.* — Наиболее очевидным примером развязки первого типа может служить «Обыкновенная история» И. А. Гончарова (1847). Описанная метаморфоза раздражала не только Алмазова. По мнению критиков «молодой редакции», такие превращения связаны с неестественностью отношения автора к своему герою. Ср. мнение в статье Григорьева «Русская литература в 1851 году» (наст. изд., с. 200). Такие повести будут отнесены Григорьевым к «направлению лермонтовскому, принявшему гоголевскую форму» (наст. изд., с. 290). Развязка второго типа, возможно, отсылает к финалу романа Герцена «Кто виноват?» (1846), в которой Круциферский действительно спивается, хотя и не доходит до воровства. Истории «падения» идеалистически настроенного молодого человека, столкнувшегося со «средой», встречаются и в повестях Панаева, например, в финале повести «Белая горячка» (1840) главный герой, живописец, спивается.

С. 93. *Le cynisme des mœurs...* — цитата из «Пролога» к дебютному сборнику Огюста Барбье «Ямбы» (1831).

С. 93. *Si natura negat, facit indignatio versum.* — Стих из первой сатиры Ювенала.

С. 93. *Вторая тема ~ он сам его нарочно сделал.* — Речь идет о распространенной в русской литературе 1840-х гг. сюжетной схеме, используемой, например, в повести А. Д. Галахова «Превращение» (1847; см.: Вдовин. С. 144–145). Похожая на описанную Алмазовым метаморфоза происходит здесь с главной героиней Катей Старицыной. В рамки «второй темы» сатирических повестей х укладывается и ранняя повесть А. Ф. Писемского «Нина» (опубл. 1848; см.: Зубков. С. 32). В частности, эта версия позволяет объяснить и резкую реакцию писателя на статью Благодрава (Писемский. Письма. С. 36). Эти повести будут отнесены Григорьевым к «направлению лермонтовскому, принявшему гоголевскую форму» (наст. изд., с. 290).

С. 93. ...смеивал Тибулла с Катюлом, аневризм с гекзаметром, говорил, что книга «*De viris illustribus*» написана Тацитом, не знал, что существовало два Плиния, и думал, что битва при Акциуме произошла 30 лет спустя после Рождества Христова. — Альбий Тибулл и Гай Валерий Катюлл — римские поэты I в. до н. э. Существует авторитетная издательская традиция публиковать тексты этих поэтов под одной обложкой. Аневризм — в медицине патологическое расширение артерии, гекзаметр — размер античной поэзии. Тацит не был автором книги «*De viris illustribus*» (лат. «О знаменитых мужах»); скорее всего, Алмазов имел в виду, что х приписывал Тациту труд Корнелия Непота с таким же названием. Однако «*De viris illustribus*» — это практически жанровый подзаголовок, которым назывались и другие работы. Так, книги под таким же заглавием принадлежат св. Иерониму и Ф. Петрарке. Римский писатель и государственный деятель Плиний Младший (Гай Плиний Цецилий Секунд) приходился племянником Плинию Старшему (Гай Плиний Секунд) — автору «Естественной истории». Решающее морское сражение периода гражданских войн в Риме состоялось при мысе Акциум в 31 г. не после, а до Рождества Христова.

С. 94. *Московскую литературу он подразделяет на Мясницкую, Арбатскую и Пресненскую.* — Алмазов высмеивает принятое в «Современнике» разделение библиографического отдела на три части: 1) Петербургская литература, 2) Московская литература, 3) Провинциальная литература. Книги разделялись по месту издания, в чем Алмазов усматривал унижительную для нестоличных авторов иерархию. Классификация «Современника» была, вероятно, призвана обозначать существующие литературные партии. Ср. в главе «Нечто о словесности» в «Тарантасе» (1845)

В. А. Соллогуба: «Впрочем, если хотите, у нас есть многое множество таких литератур: несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских, и в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются, и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Гулливера» (Соллогуб В. А. Тарантас: Повести. СПб., 2012. С. 266).

С. 94. ...х со славой подвизался на поприще легкой литературы... — «Легкая литература» здесь — синоним беллетристики, против преувеличения роли которой последовательно боролась «молодая редакция». См. ниже о романах Дюма-старшего и Фенелона. Само выражение «легкая литература» не было изобретением Алмазова. Так, о любителях «легкого чтения» говорит Дружинин в контексте, близком Алмазову: «По какой причине наши периодические издания, желая угождать любителям “легкого чтения”, в изобилии печатают посредственные романы и повести и еще платят за них хорошие деньги, между тем как посредственные стихотворения изгоняются с насмешкою из этих изданий?» (Дружинин. Т. 6. С. 425; впервые: С. 1850. № 12).

С. 94. ...магистерская «О греческих монетах, существовавших до похода Аргонатов» и докторская «Взгляд на юридический быт итальянских народов до прибытия в Италию Энея»... — Видимо, пародируются названия сочинения В. В. Григорьева «О куфических монетах VIII, IX, X и отчасти VII и XI в., находимых в России и прибалтийских странах, как источник для древнейшей отечественной истории» (1842) и знаменитой статьи К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней Руси» (1846; ср. пародии на вызванные ею споры в статье «Сон по случаю одной комедии», наст. изд., с. 123).

С. 94. *Beatus ille, qui procul negotiis ~ Potentiorum limina*... — Начало второго стихотворения «Эпос-дов» Горация.

С. 95. ...мне случилось как-то услышать лекцию о римском праве. — Вероятно, шутовское отражение биографии Ап. Григорьева, увлекавшегося, среди прочего, лекциями правоведа Н. И. Крылова (см. об отношениях Григорьева и Крылова наст. изд., с. 847–848).

С. 95. ...приехала в Москву итальянская опера ~ услышал «Лукрецию Борджиа»... — Речь идет об опере (1833) Гаэтано Доницетти (1797–1848) по мотивам пьесы В. Гюго. Опера пользовалась большим успехом в России в 1840-е гг. Возможно, в увлечении итальянской оперой отражена биография Григорьева, увлекавшегося творчеством Доницетти (см.: Григорьев. Воспоминания. С. 78).

С. 95. ...бонтонно... — От франц. 'bon ton' (хороший тон); соответствующий правилам светского поведения.

С. 95–96. *Будь всегда человеком ~ он гладок и бесцветен*. — Цивилизованность в литературе и журналистике 1840-х гг. часто описывалась как отсутствие странностей, делающих человека чуждым приличному обществу. Очевидно, распространение цивилизации отождествлялось такими авторами, как Белинский, с распространением европейских стандартов общественного устройства. Так, В. П. Боткин писал в «Письмах об Испании» (1847): «...цивилизация в своем начальном действии пробуждает в обществе так много пустого обезьянства, такую безличность и бесхарактерность и такой прозаический уровень, что сколько раз здесь, смотря на какого-нибудь франта средней руки, карикатурно подражающего парижским модам, и видя возле него андалузда в своем изящном национальном платье, невольно спрашиваешь себя: неужели национальное так противоположно общечеловеческому, что первое стремление цивилизации всегда — стереть национальную одежду, обычаи, — словом, то, что больше всего лежит к сердцу народа» (Боткин В. П. Письма об Испании. Л., 1976. С. 98–99). Очевидно, сотрудники «великосветского» «Современника», по мнению Алмазова, оказывались на стороне именно такого всеобщего уравнивания.

С. 96. *Взгляни на американских дикарей и готтентотов*... — Индейцы и в особенности готтентоты (этническая группа, обитающая на юге Африки) в европейской культуре устойчиво ассоциировались с воплощением дикости.

С. 96. *На эту тему в одном моем журнале было написано пять романов ~ и 80 000 писем из провинции*. — Имеется в виду «Современник». Помимо «светскости» и чрезмерного внимания к модам, на это указывает название «80 000 писем из провинции». В 1849–1851 гг. П. В. Анненков опубликовал в «Современнике» девять «Писем из провинции» (1849, № 8, 10, 12; 1850, № 1, 3, 5, 9; 1851, № 1, 10).

С. 96. *Читал ли ты в «Современнике» письма из Парижа?* — Имеются в виду «Парижские письма» Анненкова, печатавшиеся в «Современнике» (1847, № 1–6, 9, 12; 1848, № 1), — регулярные обозрения политической, общественной и художественной жизни Франции и французской столицы. Вопреки герою Алмазова, никаких сведений об образе жизни «порядочного» человека и о его распорядке дня статьи Анненкова не содержат.

С. 96. ...*бал не в духе нашей нации*. — Неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя (гл. 8; см. Гоголь. ПССиП. Т. 7. Кн. 1. С. 163–164).

С. 97. ...у нашего общего знакомого мистера Домби. — Персонаж романа Ч. Диккенса «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт» (1846–1848). Перевод И. И. Введенского начал выходить в «Современнике» под заглавием «Торговый дом под фирмою “Домби и сын”»

(1847, № 1–5; 1848, № 2, 3, 7, 8) еще до выхода романа по-английски отдельным изданием (1848). Дом мистера Домби упоминается здесь как образец сочетания чопорности и честолюбия.

С. 97. ...читали только Александра Дюма да Фенелона... — Дюма и Фенелон для Алмазова — образцовые представители «легкой литературы» (см. выше). Осуждая в статье «Стихотворения Эраста Благонравова» романы Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света» и «Мертвое озеро» и В. Р. Зотова «Старый дом» как написанные с «одной практической целью» — угодить подписчикам, Алмазов уподобляет их именно произведениям Дюма (см. наст. изд., с. 157).

С. 97. ...*Ah, per che, per che non posso odiar te...* — Первая строка арии крестьянина Эльвино из первой сцены второго акта оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула» (1831).

С. 98. ...«вникнул в нее долгим взором»... — Слегка перефразированная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...» (1841).

С. 99. ...заставил обремизиться хозяйку дома, с которой я вистовал. — Игра слов, основанная на двойном значении слов. В картах вистовать — помогать одному из игроков, ремиз — штраф за недобор установленного числа взяток. В переносном смысле ремизить — «подсигивать».

С. 99. Один очень образованный помещик, сосед моего хозяина, стал утверждать, что Наполеон жив. — Вероятно, здесь можно видеть отсылку к X главе «Мертвых душ» Гоголя, в которой в числе прочих слухов о Чичикове обсуждается и версия, что он переодетый Наполеон. Конспирологические рассказы о бегстве Наполеона с острова Святой Елены были распространены после 1815 г. (см.: Гоголь. ПССиП. Т. 7. Кн. 2. С. 768–769).

С. 100. ...приехал из Харькова... — Очевидно, у преподавал в Харьковском университете. Одним из его преподавателей и ректором был И. Я. Кронеберг, упоминаемый в статье (с. 90).

С. 100. Почти каждый человек прошедшую жизнь свою делит на периоды... — Приведенные далее примеры ср. с началом рассказа «Улыбка в пять рублей», опублик. в «Пантеоне» за подписью Ваня Булочкин: «Это было очень давно, — начал мой приятель — еще в то блаженное время, когда я сливки предпочитал гоголь-моголю, а в улыбке хорошенькой женщины уже начинал находить более сладости, чем в вяземском прянике» (Пантеон и репертуар русской сцены. 1850. № 3. Отд. V. С. 1).

С. 100. ...чтение Корнелия Непота... — Корнелий Непот (ок. 100 г. до н. э. — после 32 г. до н. э.), автор труда «О знаменитых людях» (см. выше).

С. 100. ...чтение Салюстия... — Гай Саллюстий Крисп (86–35 гг. до н. э.) — римский историк, реформатор античной историографии, автор монографий «О заговоре Катилины», «Югуртинская война».

С. 100. ...перевод из тем Дронке. — Эрнст Фридрих Йоханн Дронке (Dronke, 1797–1849), известный филолог и педагог, был автором выдержавшей множество изданий книги «Aufgaben zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Nach der Grammatik von C. G. Zumpt» («Задания по переводу с немецкого на латынь. По грамматике К. Г. Цумпта»).

С. 100. ...чтение Тита Ливия... — Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский историк, автор «Истории Рима от основания города».

С. 100. ...*syntaxis ornata*... — Выражение часто обозначает тему, изучаемую в курсе латинского языка, и встречается в названиях множества учебных пособий, особенно XVII–XVIII вв.

С. 100. ...я еще не знал большой грамматики Цумпта, я знал только маленькую. — Имеются в виду популярные учебники латинского языка: «Краткая латинская грамматика Цумпта» (первое изд. — М., 1832) — сокращенный перевод немецкого учебника: «Auszug aus C. G. Zumpt's lateinischer Grammatik. Zum Gebrauch für untere und mittlere Klassen gelehrter Schulen» — и полный перевод книги Карла Цумпта (1792–1849): Латинская грамматика, составленная по Цумпту Д. Поповым (бывшим профессором греческой словесности в С.-Петербург. университете). СПб., 1838.

С. 100. ...думал, что от Jupiter родительный падеж Jupiteris! — Родительный падеж от Jupiter — Iovis. Персонаж не знает очень широко известного исключения из правил склонения существительных.

С. 100. ...дошел до понимания изящного посредством отчаянного чтения всех немецких эстетик. — Возможно, намек на С. П. Шевырева, в своей «Теории словесности...» (1836) последовательно изложившего множество эстетических теорий, включая немецкие, и часто воспринимавшегося как педант (ср. памфлет Белинского «Педант. Литературный тип», 1842).

С. 101. Чтение Дионисия Галикарнасского. — Дионисий Галикарнасский (ок. 55 — ок. 8 г. до н. э.) — греческий историк и ритор, автор «Римских древностей» — истории Рима с древнейших времен до первой Пунической войны в 20-ти тт.

С. 101. Перелистывать Тита Ливия и Плутарха. — Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — греческий философ и биограф, автор «Сравнительных жизнеописаний». Тит Ливий — см. выше.

С. 101. Учить наизусть Нибура и Гиббона. — Бартольд Георг Нибуhr (Niebuhr, 1776–1831) и Эдвард Гиббон (Gibbon, 1737–1794) — выдающиеся немецкий и английский историки античности. Ср. ироничную характеристику впечатления от серьезной научной работы в написанном

Алмазовым обзор «Современника»: читатель «преисполняется чувством бесконечного уважения и страха к автору, который обращается запанибрата с Гибоном, Савиньи, Нибуром и Гегелем, — и чувствует необыкновенное к себе презрение за свое невежество» (М. 1852. № 19. Отд. V. С. 107). В поздней повести Алмазова «Катенька» (1875) знакомство русского общества с сочинениями Нибура описано как сильное потрясение: «Нибур — это какая-то темная, новая, а потому страшная сила!» (Алмазов. Т. 3. С. 192). О Нибуре см. также наст. изд., с. 707, 841.

С. 101. *Читатель Петрония*. — Петроний Арбитр (ок. 14 — 66 г. н. э.) — автор романа «Сатирикон» о времени императора Нерона.

С. 102. ...тыпишишь под именем господ Сто сорок, Дважды два четыре, Чингис-хан и проч... — Имеются в виду псевдонимы «петербургских» литераторов А. Д. Галахова (Сто один) и О. И. Сенковского (Тютюнджу-оглу). Ср. также рассуждения одного из персонажей статьи «Сон по случаю одной комедии» о пользе Тамерлана для цивилизации (наст. изд., с. 128).

С. 103. ...я знаю много молодых «ученых» и «литераторов», у которых есть поместья. — Поместье у ученого или литератора — отнюдь не редкость для 1840-х гг., поэтому, вероятно, Алмазов метит в кого-то из литераторов, для которых владение поместьем стало частью их литературного образа. Так, например, Иногородный Подписчик объяснял свое отсутствие в летние месяцы привычкой проводить лето в своем имении: «Я не понимаю людей, уверяющих, что иметь достаточный капитал в разных кредитных учреждениях гораздо приятнее и спокойнее, нежели заниматься сельским хозяйством, осушать болота, разводить сады и вообще иметь уголок красивой земли с горками, рощами и озерами. <...> Все это я говорю к тому, чтоб извинить детский восторг, овладевший мной, когда я после долгих и многотрудных странствований по разным городам снова очутился в своем иногородном владении» (Дружинин. Т. 6. С. 386; впервые: С. 1850. № 6).

С. 103. «Сравнение Илиады с посланием Даниила Заточника», сочинение молодого ученого Ф.; его же «О славянском происхождении римлян»; «О том, как финикияне открыли стекло при помощи собаки», статья магистра V. — Видимо, первое название — намек на работы С. П. Шевырева, сравнившего «Моление Даниила Заточника» (памятник древнерусской литературы XII в.) с сочинениями Гоголя (см. коммент. к статье Ап. Григорьева «Русская литература в 1851 году», с. 663). Теории об исключительном значении славянского неоднократно высказывались в «Москвитянине» под редакцией Погодина — см. статью «Голос за правду» (М. 1843. № 9), где научные открытия Коперника объяснялись его славянским происхождением; ср. также полемическую статью А. И. Герцена «"Москвитянин" о Копернике» (ОЗ. 1843. № 11). И. И. Срезневский со ссылкой на Я. Колара доказывал на страницах «Москвитянина», что Реформация как религиозное течение возникла именно в славянских странах, оттуда распространилась на Северную Италию, а уже после этого охватила всю Европу (см.: М. 1844. № 5. Отд. VII. С. 136–141). Это недалеко от «славянского происхождения римлян», читаемого героем Алмазова. Возможно также, что речь идет о читавшихся в 1851 г. лекциях Шевырева об искусстве, в которых рассматривалось «отношение византийской живописи к итальянской», очевидно, в пользу первой (Барсуков. Кн. XI. С. 274). Что пародируется в названии третьей статьи, установить не удалось. Финикийцы считались открывателями не стекла, а письменности (см., например: Муравьев М. Н. Соч. СПб., 1847. С. 275).

С. 103. ...«О ложе Александра Македонского»; второе — «О вылке Дария Истаспа». — Возможно, намек на статью Б. И. Ордынского «Обеды древних греков» (ОЗ. 1851. № 4). Внимание к ничто не значащим фактам задолго до Алмазова высмеял в статье 1844 г. о «Руководстве к познанию новой истории» С. Н. Смарагова Белинский, причем у него речь также шла об Александре Македонском: «...положим, что такой-то господин приобрел себе эту огромную фактическую ученость и без запинки может вам ответить, в каком году, какого месяца и числа родился Александр Македонский, на которую сторону кривил он шею, какого цвета были его глаза, на котором плече была у него родинка (если только она была) и, наконец, что делал он на двадцать четвертом году от своего рождения, в феврале месяце, седьмого числа, чрез час после обеда. <...> Неужели вы думаете, что если он возьмется написать историю, то это непременно выйдет самое правдивое сказание о делах народов и лиц исторических?» (Белинский. Т. 7. С. 81).

С. 103. В смеси между прочим красовались следующие произведения по части изящной словесности: «Пир Валтасаров», водевиль, «Лже-Смердис», драма, «Нимфа Эгерия», роман. — Валтасар — правитель Вавилона; согласно Книге Даниила устроил пир и святотатственно использовал священные сосуды, за что был убит. В повести Герцена «Кто виноват?» «валтасаровским празднеством» названа попойка в доме учителя латинского языка Медузина. Лже-Смердис — мидийский маг, самозванец, выдававший себя за убитого брата и в 522 г. до н. э. захвативший персидский престол. Очевидно, намек на сложившуюся в России драматургическую традицию: большая часть исторических драм так или иначе посвящена Смутному времени и захвату Москвы Лжедмитрием. Эгерия — нимфа-прорицательница, жена римского царя Нумы Помпилия и его советница. Ср. стихотворение А. Н. Майкова «Нимфа Эгерия» (1844).

С. 103. Бывали также приложения к журналу, из которых мне больше всего понравились «Кимбры и тевтоны» (программа для балета) и переложение на музыку поэмы Клопштока. — Кимбры и тевтоны — древнегерманские племена (кимбры — возможно, кельтское племя). Балета, посвященного древним племенам, на русской сцене не было. Возможно, намек на оперу Дж. Мейербергера «Гутеноты» (1836), с большим успехом шедшую в России под названием «Гвельфы и гиббелины». Фридрих Готтлиб Клопшток (Klopstock, 1724–1803) был автором многочисленных поэм на разные темы. Огромная поэма духовного содержания «Мессиада» была переведена на русский язык А. М. Кутузовым прозой. Очевидно, положить этот текст на музыку — абсурдная идея.

С. 103–104. ...человек пять великих энергических личностей ~ осмеяние людских пороков. — Судя по дальнейшему изложению, речь идет о критиках «Современника», в особенности о Панаеве.

С. 104. ...издеваются также над их личностями ~ уничтожают их совершенно. — В «Письме Эрasta Благоднравова» (М. 1851. № 12) Алмазов уточняет, что именно он имеет в виду. Отвечая на уверения Панаева, что никаких врагов у Благоднравова нет и быть не может (С. 1851. № 6. Отд. VI. С. 53), Алмазов пишет: «Какая уловка! Новый Поэт притворяется, будто не понимает, на что я намекаю. Он отделяется шутками в очень серьезном деле. Неужели он в самом деле не понимает, что я намекаю на милые манеры критики “Современника”, на страницах которого при разборах книг упоминалось о физиономиях их авторов. Так, при разборе какой-то брошюры рецензент выписывает несколько строк из нее и говорит, что сейчас можно вообразить по этим строкам, каков должен быть голос и наружность автора. Чего нельзя ожидать от критики после такой неприличной выходки, оскорбляющей всякого человеколюбивого человека? Как же мне не бояться, что критика, наведя надлежащие справки, опишет мою физиономию и представит на суд публики? — В том же журнале смеются над фамилиями сочинителей. Точно будто сочинитель виноват, когда его фамилия не нравится рецензенту, точно будто его можно исправить от его фамилии! Так, говоря об одной книге, критика между прочим говорит: «несмотря на скромность, на которую так умильно намекает фамилия автора». Каково?! вот до чего дошла литература» (С. 372–373). Литературная полемика в 1840–1850-е гг. вообще часто «переходила на личности» — ср., например, споры Белинского и Шевырева, в особенности памфлет Белинского «Педант. Литературный тип».

С. 105. *Grâce, grâce, grâce, grâce, — grâce pour moi et grâce pour toi!* — Неточная цитата слов Изабеллы, обращающейся к Роберту, из чрезвычайно популярной оперы Дж. Мейербергера «Роберт-дьявол» (1831).

С. 105. *Есть между вами один господин ~ бойко пишет пародии на их произведения!* — Панаев узнал себя в этом пародисте: «Если эти лестные слова относятся к Новому Поэту, то я должен сказать, что вовсе не имею ни малейшего желания вступать в бой с г. Эрастом Благоднравовым. Его статья мне очень понравилась, и я убедительно прошу остроумного автора сделать еще несколько усилий и написать что-нибудь столь же остроумное» (С. 1851. № 5. Отд. VI. С. 53). Стихотворения Панаева были скорее пародическими, а не пародийными. Аберрации в понимании Алмазовым Нового Поэта связаны с общим восприятием «Современника» как журнала несерьезного (см.: Зубков. С. 39–40).

С. 105. *Решим войну единоборством...* — Неточная цитата из думы К. Ф. Рылеева «Мстислав Удалый» (1822).